

Д. С. Мережковский

Последний святой

I

На парижских улицах, зимою, около шести часов вечера -- самое сильное движение. Толпы прохожих, кареты, камионы, omnibusы, трамваи, автомобили сливаются в темный, непрерывный, кипящий, грохочущий поток, который несется между громадами домов, как между уступами горного ущелья. Поезда по чугунным пролетам мостов гремят над головой, и под ногами земля гудит от подземной Железной дороги.

Сколько путей сообщения -- спешат, бегут, летят, но достигнуть друг друга не могут и остаются безнадежно разобщенными, более одинокими в толпе, чем в пустыне. Все вместе, и каждый -- один. Я и они. Я и оно, чуждое, черное, мертвое. Победив стихии природы, люди сами стали стихией. Человеческие волны приходят, уходят, поднимаются, падают. Я не знаю никого, и меня никто не знает. Все лица одинаковы, нельзя отличить одно от другого. Мелькнет и пропадет. Был и нет. Нет никого и меня нет. Люди -- капли в водопаде, который низвергается в бездну -- в ничтожество. Все едино в этом ничтожестве.

Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне и Я в Тебе. Свет лица Божеского, которое соединяет все лица человеческие, -- угасает, почти угас в этой толпе, как вечерний свет в свете электрических солнц и разноцветно-огненных реклам на темном небе. Небо и есть та страшная бездна, в которую низвергается водопад человеческий.

И *дивлюсь я удивлением великим*, как сказано в Апокалипсисе. И вспоминается мне маленький, сгорбленный старичок в белом балахончике, в мужичьих лаптях, в убогой камиллавке, с медным крестом на груди и тяжелой сумой за плечами, который идет, подпираясь топориком, по мшистой тропинке в дремучем лесу -- Серафим Саровский, последний святой.

Он -- величайшая противоположность этой толпе. Лицо его не пропадет среди лиц человеческих. Он отличен от всех, он -- один-единственный. Был, есть и будет. Вечный, подлинно-сущий. Ушел от всех и спасся. Проклял этот город и все города мира, как Вавилон великий, воплощение зверя; проклял всех и остался один с Богом. Он и Бог -- в этом святость.

Что же мне делать? Спасаться одному или погибать со всеми? Я не могу проклясть всех, потому что Бог во всех; и не могу проклясть святого старичка, потому что, как во всех, так и в нем, в одном-единственном -- тоже Бог. Я не хочу ни Бога без мира, ни мира без Бога.

Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отца, чтобы спасти мир. -- Как же не любить мне того, что возлюбил Бог?

Это о одной стороны, а с другой:

Не любите мира, ни того, что в мире. -- *Весь мир лежит во зле.* Царство Христа -- *не от мира сего.* *Князь мира сего диавол.*

Не Бог, а дьявол создал мир, это сказать для христианина -- кощунство, а делать -- святость, ибо не может христианин угодить Богу, не отрекшись от мира, не возненавидев мир, -- не какую-либо часть мира, а именно *весь мир* у как царство дьявола. "Приходящие к сему подвигу (к отречению от мира) должны *всего* отречься, *все* презреть, *всему* посмеяться, *все* отвергнуть", -- говорит Иоанн Пествичник.

Что же такое христианство -- принятие или отвержение, проклятие или благословение мира?

Тут -- противоречие, не только не разрешенное, но и не сознанный, решающее, однако, последние судьбы мира.

Христианство должно включить весь мир -- плоть, пол, общественность -- легко сказать, но как сделать? Об этом говорили все реформации и все реставрации, так называемые "возрождения христианства", от Ламенне и Лакордера до Вл. Соловьева и

Серг. Булгакова. Говорили, но не делали. Все попытки соединить христианство с миром ни к чему не приводили, кроме ущерба для обеих сторон: или христианство глотало мир, как нож; или мир урезывался христианством, как ножом. Это в худшем случае, а в лучшем -- оба начала, соединяемые, не соединились, а только смешивались, как вода с маслом в сосуде, который взбалтывают: отстоится смесь, и масло всплывет над водою, христианство -- над миром.

Дерево узнается по плодам, религия -- по святости. Не слова, а дела, не учение, а святость -- вот подлинная мера всякой религии.

Вопрос о том, соединимо ли христианство с миром, можно решить, только определив отношение христианской святости к миру -- к плоти, к полу, к общественности.

Следует, однако, помнить, что говорить о христианстве еще не значит говорить о Христе.

Слово, ставшее плотью, -- есть откровение Божеской сущности, которая воплощается в мире, становится имманентною миру. Но христианская святость -- отречение от мира, доведенное до предела своего -- до отрицания мира, как начала, несоизмеримого с Богом, -- предполагает откровение Божеской сущности, не имманентной, а трансцендентной миру. Если же это действительно так, то не могло ли бы оказаться христианство, по крайней мере в некоторых точках своей метафизики, -- страшно сказать, но страшнее молчать, -- противоположным Христу?

II

В Египте, недалеко от Александрии, в пустыне Фиваидской, находилась под началом одного великого аввы, "светила светил", обитель кающихся, называемая Танобом, или темницею. Иоанн Лествичник, живший на горе Синайской в конце VI века, посетил Таноб, и вот что он рассказывает:

"Видел я, что одни из сих невинных осужденников стояли всю ночь до утра под открытым небом, не передвигая ног, со связанными позади руками, и качались жалким образом, одолеваемые сном, но не давали себе ни мало покоя. Иные томили себя зноем, иные -- холодом. Иные, отпив глоток воды, тотчас же переставали пить, только бы не умереть от жажды. Иные, вкусив хлеба, далеко отталкивали его от себя, говоря, что недостойны пищи людской, потому что делали скотское. Иные рыдали о душах своих, как о мертвецах. Иные удерживали рыдания и только изредка, когда уже не могли терпеть, внезапно кричали. Иные сидели, поникши к земле и непрестанно колебля головами, подобно львам, рыкали и выли протяжно. Иные, придя в исступление, становились бесчувственны. Иные молились о том, чтобы Бог наказал их проказою, иные -- о том, чтобы впасть в беснование, только бы не быть осужденными на муку вечную. И ничего не слышно было, кроме слов: "Увы, увy! Горе, горе!" Видны были глаза тусклые и впалые; веки, лишенные ресниц; щеки, исцарапанные ногтями; лица бледные, как у трупов; перси, болящие от ударов; мокроты кровавые, извергаемые от биения в грудь; языки воспаленные и выпущенные изо рта, как у псов. Все темно, все грязно, все смрадно. Я же, видя и слыша у них все это, едва не пришел к отчаянию".

Кто же эти "кающиеся"? Какие грешники? Не грешники, а святые.

Некий авва Стефан сорок лет прожил в пустыне и достиг такой святости, что леопарда кормил из рук. "За день до кончины пришел он в исступление и с открытыми глазами о озирался на обе стороны, как бы истязуемый справа и слева. Поистине, ужасное зрелище было это невидимое и немилостивое истязание. И что всего ужаснее -- его обвиняли в том, чего он вовсе не делал. Во время истязания душа его разлучилась с телом, и осталось неизвестным, какое было решение суда".

Если так судят святых, что же будет с нами, грешными?

Покаяние беспредельно; оно не часть, а все, не путь, а цель. "Если бы человек в точности увидел свои грехи, то ни о чем земном не стал бы заботиться, помышляя, что

на оплакивание и самого себя не станет ему жизни, хотя бы он и сто лет прожил и хотя бы увидел истекающим из очей своих целый Иордан слез" (Леств.).

Это чувство беспредельной виновности рождает беспредельный ужас перед Богом.

Один святой, помышляя о смерти, приходил от страха в неистовство и, "как пораженный падучею болезнью, относим был братьями, почти бездыханный: подобные ему, -- заключает Лествичник, -- непрестанно переходят от страха к страху, пока вся сила в костях не истощится".

Таноб, темница, -- не искаженный, а точный образ всего христианского мира: весь мир должен превратиться в Таноб, чтобы спастись. Именно оттуда, из этой "блаженной преисподней", из этого святого ада возшло над миром то черное солнце монашеской святости, которое, как радий, лучами своими разлагает все живые ткани, всю плоть мира. Оттуда -- "победа, победившая мир". Перед этим страшным покаянием мир пал ниц, уничтоженный: вы -- святые, мы -- грешные; делайте с нами, что хотите, только спасайте.

Таноб -- несокрушимый камень, черный алмаз, на котором христианство зиждется. Чем святее, тем чернее; и только изнемогая, святость линяет, сереет; но все-таки черный цвет его никогда не сделается белым, как в Преображении ризы Господни -- *белее, чем белильщик на земле может выбелить*.

Легко покончить с темницею простому здравому смыслу, вне религии; решить, что все эти высунутые языки, кровавые мокроты, припадки падучей -- не что иное, как изуверство, напоминающее не столько обитель святых, сколько дом сумасшедших. Но с религиозными переживаниями не так-то легко покончить здравому смыслу. *Идите от Меня, проклятые, в муку вечную*, -- что нам делать с этим приговором самой истины? Ежели не с ликом Христа грядущего, сияющим, *как солнце в силе своей*, то с отброшенной этим солнцем тенью Христа пришедшего не связана ли тень Таноба? И через все века от Дантова "ада" до "бездны" Паскаля и "подполья" Достоевского не протянулась ли эта тень вплоть до наших сердец? Не все ли мы носим в себе если не на поверхности разума, то в глубине плоти и крови, в мозге костей луч этого монашеского радия, этого черного солнца?

Правда, луч -- уже не восходный, а закатный. Таноб -- бездонный ров, отделяющий христианство от язычества; благо, что ров этот вырылся; но благо и то, что человечество вышло из него навсегда: скорее выйдет он совсем из христианства, чем вернется в Таноб. Тут наша непоколебимая твердость, наш белый алмаз против черного.

Совершенная любовь изгоняет страх -- вот слово, которое осталось только словом. Совершенным страхом изгоняется любовь -- вот слово, ставшее плотью христианства, плотью цепенеющей, дрожащей от страха Божиего, как от черной немочи.

"Все, а особенно падшие, должны остерегаться, чтобы не допустить в сердце свое недуг безбожного Оригена, ибо скверное его учение о Божием человеколюбии весьма приятно людям сластолюбивым", так заключает Лествичник слово о темнице и о покаянии вообще. Утверждать, что Бог есть любовь -- скверно, а что Бог есть гнев -- свято. *Кто знает силу страха Твоего по мере ярости твоей?* Но ведь это мы знали и до Христа и если ничего не узнали, кроме этого, то зачем Христос? *Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы*. Пошли в темницу и научились, что бескровная милость ужаснее кровавых жертв. Полно, уж не лучше ли совсем без милости? Не лучше ли погибать со "скверным" Оригеном, нежели спастись с "преподобным" Лествичником?

Во всяком случае, Бог темницы для нас -- не Отец, а палач, не человеколюбец, а человекоубийца, не Бог, а дьявол. И не принимая такого Бога, если бы мы даже отреклись от христианства, мы не отречемся от Христа.

III

"Человек не может узреть красоты внутри себя, пока не возгнушается всякою красотой вне себя и не обесчестит ее. Не может возвести взора прямо к Богу, пока не отречется совершенно от мира", -- говорит св. Исаак Сириянин.

Мир -- создание Божие, красота Божия, а между тем нельзя человеку соединиться с Богом, не отрекшись от мира, от создания Божиего, не обесчестив мира, красоты Божией. Бог в человеке восстает на Бога в мире. Это противоречие никогда, повторяю, не сознавалось в христианстве с окончательной ясностью, но иногда смутно прощупывалось, как холод железа сквозь ткань. Этой болью пронизана вся плоть христианского мира, как болью от гвоздей -- плоть Распятого.

"Как связать мне плоть свою и судить ее? Не знаю. Прежде нежели успею связать ее, она уже освобождается; прежде нежели стану судить ее, примиряюсь с нею; и прежде нежели начну мучить ее, преклоняюсь к ней жалостью. Как мне возненавидеть ту, которую я, по естеству, привык любить? Как освобожусь от той, с которой связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною? Она -- и друг мой, она -- и враг мой; она -- помощница моя и соперница; она -- заступница и предательница. Когда я угождаю ей, она вооружается против меня. Изнуряю ли ее -- изнемогает. Успокаиваю ли -- бесчинствует. Обременяю ли -- не терпит. Если я опечалю ее, то сам буду крайне бедствовать. Если поражу ее, то не с кем будет приобретать добродетель. И отвращаюсь от нее, и обнимаю ее. Какое это во мне таинство? Какое *соединение противоположностей*?"

Если бы христианство могло остановиться на этом первом "соединении противоположностей", то оно пришло бы к новому откровению Троицы, к последнему соединению Отца и Сына в Духе, соединению, разрешающему антиномию в синтезе. Но в христианстве глубочайшее созерцание двух равных бездн, Духа и плоти, -- не длительная остановка, а мгновенное колебание, как на острие иглы: равновесие тотчас нарушается, и колеблющийся падает в одну сторону, именно в утверждение духа как начала святости, и плоти как начала греха. *Плоть похотствует на дух, дух же на плоть, сия же друг другу противятся* (Гал. V, 7). Эти слова апостола Павла утверждают в понимании христианства не только эмпирическое, но и мистическое разъединение противоположностей, Духа и плоти.

По слову Антония Великого, "первая добродетель человека есть презрение плоти". По слову Божиему, первая добродетель человека есть любовь к Богу. Но для христианства любовь к Богу и есть не что иное, как ненависть к миру, презрение к плоти.

Плоть есть "гной". Просить у Бога плотских благ значит -- "просить гноя". Плоть есть грязь -- "брение, растворенное кровью и мокротами": "высохшая грязь не привлекает свиней, умерщвленная плоть не привлекает бесов". Плоть есть труп: душа святого в теле -- живая душа в трупе. Не только всякая чувственность, но и всякая чувствительность тела -- зло для души. Состояние святости -- совершенная бесчувственность, как бы столбняк, превращение тела в камень или обрубок дерева. "Поистине блажен тот, кто приобрел совершенную нечувствительность ко всякому телу, и виду, и красоте, -- говорит Лествичник. -- Душа твоя да будет с Господом во всякое время; тело же твое да будет на земле, как изваяние и истукан".

Но и столпник на столпе дышит; а дыхание, биение сердца есть еще остаток телесной чувствительности, остаток зла. "Сущие в теле Богу угодить не могут". Отсюда вывод: "необходимо совлечься тела и быть *как бы* вне тела". Сначала -- *как бы*, а потом -- *совсем*. Предел самоумерщвления самоубийство, -- вот предел христианской святости. "Если тело скажет тебе: великий грех самому себя убивать, то отвечай ему: сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто. Лучше мне умереть, ради непорочности. Сам себя умерщвляю" (Леств., XXII). Русские раскольники, самосожигатели ошибались только потому, что предпочитали самоубийство мгновенное, легчайшее труднейшему, медленному, растянутому на целые десятки лет, и ежедневному, ежесекундному.

"Умирай каждый день, чтобы жить", -- говорит Антоний Великий. "Будь мертв в жизни сей, чтобы жить по смерти. Молись так: сподоби меня, Господи, возненавидеть жизнь мою", -- говорит Исаак Сириянин. Умертвивший плоть свою есть "блаженный и живой мертвец" (Леств., IV). "Тело свое так изможди, чтобы оно было похоже на тело, лежащее в смертной болезни" (Ант. Великий). Один постник "казался подобным тени: лицо его так исхудало, что не было в нем и двух перстов" (Ис. Сир., X). Но и двух перстов много -- от двух к одному, от одного к волоску, от волоска к совершенному уничтожению плоти.

Ежели, однако, плоть есть абсолютная нечистота, отрицание Бога, чистого Духа, то зачем воплощение слова, явление Христа во плоти? Зачем воскресение плоти? Зачем таинство плоти и крови? Не кощунственно ли погружать святыню святынь, плоть Христову, образ бесплотного Духа в бездушную плоть человеческую -- гной, грязь, лужу, в которой воплощаются бесы, как свиньи? "Какое это таинство? Какое соединение противоположностей?"

Все христианство могло бы только ответить так же, как Лествичник: "не знаю".

IV

Огненное острие плоти -- пол. Сломить это острие -- первая цель святости. Между браком и целомудрием нет соединения. Целомудрие -- не преображение, а вытравление пола, совершенное скопчество. Но жало пола не только в поле, а во всей плоти и даже в духе. Вот почему оскотление физическое не чрезмерно, а недостаточно; оно должно быть более глубоким, идущим до метафизических корней пола.

"Некоторые ублажают скопцов по плоти, а я ублажаю вседневных скопцов, которые разумом, как ножом, обучились оскотлять себя. Целомудрен тот, кто навсегда стяжал совершенную нечувствительность к различию тела. Крайняя степень чистоты состоит в том, чтобы в одинаковом устройении пребывать при виде существ одушевленных и бездушных, словесных и бессловесных" (Леств., XV).

Здесь, в поле, еще в большей мере, чем во всей остальной плоти, состояние святости -- состояние мертвой материи.

Если вообще плоть -- гной и грязь, то пол -- гной гноя, грязь грязи. "Все существующее, по природе своей, ненасытно желает сродного себе: кровь -- крови, червь -- червя, грязь -- грязи; а потому и плоть мужская желает плоти женской" (Леств., XV). Итак, существо брака, соединение полов -- не что иное, как соединение грязи с грязью. На слово Господа: *да будут двое одна плоть*, христианская святость отвечает: да не будут двое одна грязь.

Этот страх пола рождает такую подозрительность, какую, кажется, никогда и нигде не оскорблялась природа человеческая.

"Ни перед кем не обнажай ни одного члена своего; не приближайся ни к чьему телу, не позволяй, чтобы и к твоему приблизился кто" (Ис. Сир., IX). "С отроком совсем не говори, ибо иначе он будет тебе в преткновенение. Не бери за руку подле тебя стоящего брата и не касайся ланит его, старше ли он или моложе тебя". "Женщине не позволяй приблизиться к тебе и не потерпи, чтобы она вошла в твою келью, потому что за нею идет буря помыслов". "С женщиной не ешь вместе" (Антон. Вел.). "Лучше тебе принять смертоносный яд, нежели есть вместе с женщиной, хотя это будет мать или сестра твоя. Лучше тебе жить вместе со змием, нежели спать и лежать под одним покровом вместе с юным, хотя это будет брат твой по плоти" (Ис. Сир., IX). "Двое не спите на одной рогоже, хотя бы это был отец или брат твой" (Антон. Вел.). "Можно осквернить тело и одним осязанием; помни того, кто обвил руку свою краем одежды, когда нес престарелую мать" (Леств., XV).

В самых чудовищных оргиях язычества углублялась ли половая гнусность до такой бездонной метафизики?

"Не забывайся, юноша. Я видел, что иные пламенно молились о своих возлюбленных, будучи движимы духом блуда, и думали, что они исполняют долг памяти и закон любви". От нечистого прикосновения сына к телу матери до небесного лобзания Данте и Беатриче -- весь пол вытравлен.

Но и в этом вытравленном поле тлеет искра, от которой может вспыхнуть адский пожар.

Св. Антоний, столетний старец, у которого "в лице нет и двух перстов", храпит, как дикий зверь во время случки, перед шелестящими юбками царицы Савской. "Если бы женщины сами прибегали к мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть, -- признается Лествичник. -- Боримый сим духом, во время брани ощущает телесное разжжение, подобное огню от распаленной печи; не боится Бога, вменяет ни во что воспоминание о муках ада, молитвы гнушается и делается как бы исступленным, будучи упоен всегдашнею страстною похотью к словесным и бессловесным тварям, так что, если бы не прекращались дни брани, то не могла бы сплетись никакая душа". Это вопль всей распинаемой плоти мира.

Таинство брака находится в таком же зияющем противоречии с христианской святостью, как таинство крови и плоти. Женихом назван Христос, а сделан скопцом.

И здесь, в поле, так же как во всей плоти, христианство -- не свет, а тень от света Христова.

V

Как плоть и пол, тайна одного и двух, так и общественность, тайна трех, человеческой множественности, в христианство не вмещается.

Не внешнее, принудительное, безличное соединение людей в род, народ, государство, -- а внутреннее, свободное соединение человеческих личностей в любви друг к другу и к Богу, соединение, спаянное плотью и кровью в новое реальное существо, в живое вселенское тело -- Церковь, -- вот главное, что открыл людям Христос. Как отдельные члены, органические клеточки, первые малые личинки, личики животной жизни, соединяются в единое человеческое тело, лицо и личность, так отдельные человеческие личности соединяются в новое сверхорганическое, вселенское тело -- вселенский лик богочеловечества. Откровение любви Христовой и есть откровение об этом законе сверхорганического мирового развития. От Богочеловека к богочеловечеству -- таков путь, указанный Христом.

Христианство, вступив на этот путь, почти тотчас остановилось и повернуло назад -- от соединения к уединению, от мира к пустыне, от богочеловечества к Богу без человечества.

Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Две заповеди, ветхие, разъединенные или, по крайней мере, несоединенные -- любовь к Богу и любовь к человеку -- Христос впервые соединил окончательно в новую заповедь единой любви к Богу и к человеку. В этом соединении вся подлинная сущность, вся новость Нового Завета. Можно любить Бога только в человеке, можно любить человека только в Боге; любовь ко Христу, Богочеловеку, и есть последнее соединение любви к Богу с любовью к человеку.

Христианство не исполнило, а нарушило эту заповедь о любви единой. Поскольку в христианстве Бог, бесплотный чистый Дух, противоположен нечистой плоти человеческой, постольку и любовь к Богу противоположна любви к человеку. Чем дальше от людей, тем ближе к Богу; совсем без людей -- совсем в Боге. Человек в Боге один -- монах, отшельник -- таков совершенный образ христианской Святости.

"Почему Господь наш, для уподобления нашего величию Отца Небесного, назначил нам милосердие, иноки же предпочитают милосердию безмолвие?" -- спрашивает Исаак Сириянин. Неимоверный вопрос, который значит: почему Христова заповедь

любви к людям в Боге, последнего соединения людей в Боге, отменяется христианскою заповедью любви к Богу помимо людей, последнего уединения человека в Боге? или, другими словами: почему христианством Христос отменяется?

Неимоверный вопрос. А между тем с этого-то вопроса и начинается вся лестница христианской святости.

В ответе указываются две ступени совершенства, низшая и высшая; на низшей "безмолвие", уединение, любовь к Богу приносится в жертву любви к людям, на высшей любовь к людям -- любви к Богу. Но в обоих случаях нет сомнения в том, что одна любовь должна быть принесена в жертву другой и что тут, повторяю, антиномия неразрешимая.

"Ежели милосердие, или любовь, или жалость препятствуют твоему безмолвию, обращают око твое на мир, воскрешают тебя для мира, -- то да погибнет такая правда. *Ибо совершать дела любви есть назначение людей мирских, а если и монахов, то недостаточных*, не пребывающих в совершенном безмолвии. Неприлично нам, оставив небесное делание, держаться мирского. Житие иноческое подобно ангельскому". "Заботящийся о своей одной душе, не сможет заботиться и о других. Если ты намерен держаться безмолвия, будь подобен херувимам, которые не имеют никакого попечения житейского, а не думай, что, кроме тебя и Бога, есть кто-либо другой на земле, о ком бы заботиться тебе. Ежели не ожесточит кто сердца своего и не будет с усилием удерживать милосердие, то не может пребывать в безмолвии" (Ис. Сир., XIV).

Так вот каким усилием восхищается царство Божие -- усилием не любить. Нелюбовь к людям и есть любовь к Богу; ожесточение сердца к людям и есть христианская святость.

"Когда придет тебе мысль позаботиться о чем-либо под предлогом добродетели и тем возмутить безмолвие, которое у тебя в сердце, тогда скажи этой мысли так: прекрасен путь любви, прекрасно дело милосердия ради Бога; по я ради Бога же не хочу этого" (Ис. Сир., XIV). "Возлюби безмолвие гораздо больше всяких дел" (Ис. Сир., XV). "Бездейственность безмолвия возлюби более, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освободить от рабства" (Ис. Сир., VI).

Понятно, почему христианство, за все свое существование, пальцем не двинуло для общественного блага людей, для их спасения от рабства и голода. *Я был голоден, и вы не накормили Меня. Я был в темнице, и вы не посетили Меня.* Голод, рабство, войны, все злодеяния и ужасы мировой истории проходили мимо святых. Погибай мир, только бы святым спастись. Не страшно смотреть на гибель мира, а полежать с отцом или братом на одной рогоже, съесть полтора сухаря вместо одного -- страшно.

"Блажен, кто один ест хлеб свой. В которые дни имею беседу с кем-либо, в те дни съедаю по три или по четыре сухаря; и если стану принуждать себя к молитве, то не имею дерзновения к Богу и не могу устремить к Нему мысли. Когда же разлучусь с людьми на безмолвие, то в первый день принуждаю себя съесть полтора сухаря, во второй -- один, а как скоро утвердится ум мой в безмолвии, усиливаюсь съесть один цельный сухарь и не могу; и тогда дерзновенно беседую с Богом. Если же, во время безмолвия, случится кому придти и говорить со мною, хотя один час, то невозможно мне тогда не прибавить пищи, не оставить чего из правила, не расслабеть умом к созерцанию Божественного света" (Ис. Сир., VIII). "Как иней сжигает едва выходящую из земли зелень, так свидание с людьми сжигает корень ума, начавший производить знак добродетели" (Ис. Сир., XIX). "На людей мирских вредно смотреть даже издали" (Ис. Сир., XXXVI).

Ежели с любовью к Богу соединима вообще какая-либо любовь к людям, то лишь созерцательная, бездейственная.

"Старец, спрошенный: что такое сердце милующее? -- ответил: сердце, горящее о всей твари -- о людях, о птицах, о животных, о демонах. При воспоминании о них или

при воззрении на них глаза источают слезы. От великой жалости умиляется сердце и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А по сему и о врагах истины и о собственных врагах ежечасно со слезами приносить молитву, чтобы сохранились и были помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молиться с великою жалостью, какая безмерно возбуждается в сердце святого до уподобления в сем Богу" (Ис. Сир., XVIII).

Только такая любовь с высоты полета "херувимского" -- любовь к людям, которая смешивает их с "естеством пресмыкающихся", не нарушает любви к Богу. При такой любви можно плакать над погибшею букашкой, над сломанным цветком -- и пальцем не двинуть для гибнущего брата -- человека или даже всего человечества: ведь ежели я двину пальцем, то придется, съев лишний сухарь, лишиться "дерзновенного собеседования с Богом". При такой любви к людям можно исходить слезами в пустыне наедине с Богом; но только что издали увидел лицо, услышал голос человеческий -- слезы высохли, сердце ожесточилось и любящий бежит от любимого.

"-- Остановись, отец, ради Бога! Спешу за тобой!" -- кричал кто-то святому. "И я ради Бога бегу от тебя",-- отвечал тот (Ис. Сир., XIV). "Авва Арсений предавался бегству и не останавливался, встречая кого-либо. Авва же Федор, если встречал кого, то встреча его была, как меч" (Ис. Сир., XXIII). "Хочешь ли приобрести любовь к ближнему? Удались от него, и тогда возгорится в тебе пламень любви" (Ис. Сир., XXIII). "Кто омертвел сердцем для своих ближних, для того мертв стал дьявол" (Ис. Сир., XXXIX).

"Однажды некто из отцов пришел видеть авву Арсения (Великого), и старец отворил дверь, думая, что это служитель его; но, когда увидел, кто был пришедший, -- пал на лицо свое и, долго умоляемый встать, после уверения пришедшего, что примет благословение и тотчас уйдет, святой отказывался встать, говоря: "Не встану, пока не уйдешь". И делал это блаженный для того, чтобы, если однажды подаст им руку, снова не возвратились к нему. Когда же авва Макарий укорил авву Арсения, сказав: "Что ты бегаешь от нас?" -- старец представил ему дивное и достойное похвалы оправдание, ответив: "Богу известно, что люблю вас, но *не могу быть вместе и с Богом, и с людьми*". И сему чудному ведению научен он не иным кем, но Божиим гласом, ибо сказано было ему: *бегай, Арсений, людей и спасешься* (Ис. Сир., XXIII).

На вопрос о том, почему Христос заповедал любовь, соединяющую людей в Боге, а христианство предпочитает любовь уединяющую, святой отвечает: не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. Но ведь это значит: не могу любить вместе Бога и человека, не могу любить Богочеловека, не могу любить Христа.

Ежели некий авва Агафон желает взять у прокаженного тело, а ему дать свое, то, после этого обмена телами, их душам все-таки нечего бы делать вместе: обменялись и разошлись, чтобы каждому спастись в одиночестве.

"Знаем и о другом некоем святом, что брат его сделался болен и заключен был в своей кельи. А так как святой во все время болезни брата превозмогал свое милосердие и не приходил повидаться с ним, то больной, приближаясь к исшествию своему из жизни, послал сказать ему: "Если ты не приходил ко мне донныне, то приди теперь, чтобы видеть мне тебя прежде отшествия моего из мира, или приди, хоть ночью, и я поцелую тебя и почию". Но блаженный даже и в тот час, когда сама природа требует нашего сострадания друг к другу, не согласился и сказал: "Ежели пойду к нему, то не буду чист сердцем моим перед Богом, потому что не радел посещать братии духовных, естество же предпочел Христу". И брат умер, а он не видал его" (Ис, XXIII).

Хочется кричать от ужаса. Что же это такое? Ангельская любовь к Богу или дьявольская жестокость к человеку? Ведь покинутый брат умер, убитый, может быть, с проклятием святому убийце, который убил его во имя Христа.

И не образ ли всего грешного мира этот брат, покинутый братом? Мир сказал христианству: приди ко мне, хоть ночью, и я поцелую тебя и умру. Но христианство ответило: если приду к тебе, не будет сердце мое чисто перед Богом. И мир погиб, а

христианство не пошло к миру.

Теперь понятно, почему отшатнулся он от христианства, как бы говоря: если ты свято, я проклят; если я свят, ты проклято; но нельзя нам быть вместе. И, действительно, миру ничего не оставалось делать, как или не быть, приняв, или быть, отвергнув христианство. Он сделал последнее и хорошо сделал, ибо, если *весь* Христос -- в христианстве и *все* христианство -- во Христе, то мир не мог спастись Христом, а мог только спастись от Христа. Слова эти -- кощунство; но не большее ли кощунство утверждать, что нет ничего во Христе, кроме христианства?

Понятно и то, почему христианство вечно строило, но никогда не могло построить церкви. Нельзя строить здания, складывая камни во внешнем порядке и не соединяя их внутреннею скрепою; нельзя создать реального тела, утверждая силу не взаимного притяжения, а взаимного отталкивания, не центростремительность, а центробежность частиц.

"Бегай, Арсений, людей и спасешься", -- на этом одиноком, личном спасении нельзя построить спасения церковного, общественного. Один за всех спасается, все за одного погибают.

К тому же церковь строилась не в сияющем средоточии, а на сумеречных окраинах святости. В средоточии -- пустыня, уединение; а на окраинах, в "миру" -- соединение церковное. Что поплоче, то в церковь, а что получше, то вон. Таким образом, созидалась она не из твердых камней, черных алмазов, а из мягкой трухи, мусора святости. Можно было кое-как слепить из этого мусора пышную римско-византийскую декорацию, но истинную Церковь вселенскую нельзя было создать.

За неимением внутреннего соединения пришлось прибегнуть к внешней скрепе -- древнеримскому железу государственному. Константин равноапостольный наложил на церковь эту скрепу. Но тогда мир отшатнулся от христианства и государство от церкви, тогда скрепа лопнула, и церковь начала разваливаться. И уже ничто не остановит ее разрушения, по слову Господа: *не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.*

Тот, для кого Церковь Христова есть церковь христианская, не может при виде этого разрушения не прийти в отчаяние и не усомниться в пророчестве: *созижду Церковь Мою, и врата адавы не одолеют ее.* Но для тех, кто верит в грядущую Церковь Христову, нынешняя христианская государственная церковность есть камень, которым завален гроб Христа, Богочеловека в богочеловечестве: если гробовый камень рушится, значит -- Христос воскрес.

VI

Чтобы узнать до конца, что такое христианская святость, надо знать, что такое христианский святой. Чтобы увидеть реальную силу метафизического начала, надо видеть, как это начало действует на живую человеческую личность.

Древние жития святых для этого недостаточны. Иконописные лики в тускло мерцающих венчиках смотрят на нас, как неземные видения, существа иного мира, несоизмеримого с нашим, так что нам почти невозможно поверить, что это такие же люди из плоти и костей, как мы. От нас нет путей к ним, от них -- к нам. Глядя на них, мы умиляемся или ужасаемся, но делать с ними нам нечего, мы не можем и даже не хотим уподобиться им, как не можем и даже не хотим летать. К тому же все это для нас прошлое: святых нет больше. Тут что-то истощилось, иссякло навеки в самом источнике святости.

Святых больше нет и, по всей вероятности, уже не будет, по крайней мере, *точно таких, как были*, а ведь тут малейшая неточность, отступление от иконописного подлинника, "типикона", есть уже нарушение всей христианской святости, этого совершенного подобия, "преподобия" образов человеческих образу Божию.

Их нет. Но вот последний из них, ближайший к нам, не только по месту и времени -- он жил почти рядом с нами, почти среди нас, но и по глубочайшему сродству духовному. В этом иконописном лике мы узнаем почти наше лицо, может быть, самое родное, самое русское из русских, во всяком случае, не менее, чем лицо Пушкина, Гоголя, Достоевского, Л. Толстого. Житие Серафима для нас -- не легенда, даже не история, а почти сегодняшняя действительность, дневник очевидцев. Он -- мы, только в ином измерении; и мы можем проследить, как он отделяется от наших трех измерений и входит в недоступное нам, "четвертое", -- как образ человеческий входит в образ Божий, в икону. Можем почти прикоснуться руками к сияющему нимбу этой иконы. Почти на уровне нашего зрения -- последняя ветвь с последними плодами тысячелетнего дерева, чьих корней мы уже не видим; зато плод мы не только видим, но и можем вкусить от него, чтобы по вкусу одного судить обо всех.

Постараемся же найти себя в нем, три измерения нашего мира -- в четвертом, "не от мира сего". Каков суд над нами, грешными, всех святых и всей христианской святости, -- пусть нам скажет этот последний святой.

VII

"Я всю монастырскую жизнь прошел и никогда, ниже мыслью, не выходил из монастыря. Нет лучше монашеского жития, нет лучше!"

Он еще в младенчестве посвящен был Матери Божией. Семнадцати лет решил постричься и от семнадцати до семидесяти, до самой смерти, не выходил из монастыря. Пустынька, в которой он спасался, была в дремучем сосновом лесу, на берегу речки Саровки, на холме, в пяти-шести верстах от монастыря, на восход зимнего солнца; одна хата с печкою, вокруг пустыньки он устроил себе огород с пчельником и обнес все забором.

Современник екатерининского века, великой революции, наполеоновских войн, двенадцатого года, декабристов -- на все эти события не отозвался он ничем; все они прошли мимо него, как тени летних облаков.

"Стяжавший совершенную любовь к Богу существует в жизни сей так, как бы не существовал", -- говаривал Серафим. Он, действительно, и "не существовал в жизни сей" -- у него собственно и не было жизни, а было только "житие". И ничем не отличается это житие русского святого в XIX веке от житий синайских и фиваидских отцов в V или VI веках. Время для него остановилось, история кончилась, или, вернее, никогда не начиналась.

Дух Божий и дух тьмы столкнулись, как два урагана, в крутящемся смерча революции, и рушились царства, гибли народы, а он стоял тысячу дней на камне в безмолвной молитве. Люди боролись с людьми за будущность мира, а он боролся с бесами за себя одного.

Неземные видения -- единственные события земного жития Серафимова. Трижды являлась ему Царица Небесная и каждый раз повторяла, указывая на него: "Сей от рода нашего". Он любил икону Умиление Божией Матери, "всех радостей радость"; перед этою иконой "на коленочках, во время молитвы, батюшка и отошел, как будто и не умер". От упавшей свечки загорелась келья, но тело почившего старца не тронул огонь; истлели только страницы книги, на которую он склонился лицом, как будто уснул, с крестообразно сложенными руками. Такова была огненная кончина Серафима -- Огненного.

Жил, как будто не жил, умер, как будто не умер. Пролетел сквозь тьму земную светлым ангелом, и, глядя вслед ему, мы только можем сказать: "сей не от рода нашего".

Однажды четыре сестры провожали батюшку в пустыньку и, тихонько идучи за ним, говорили вполголоса: "Глядите-ка, чулочки у батюшки спустились, а ноженьки-то

какие белые!" Остановившись вдруг, о. Серафим приказал им идти вперед, а сам пошел сзади. "Идем это мы лугом, -- рассказывает сестра Анна, -- трава зеленая да высокая такая. Оглянулись, глядим, а батюшка и идет на аршин выше земли, даже не касаясь травы. Перепугались мы, заплакали и упали ему в ножки, а он и говорить нам: "Радости мои, никому о сем не поведайте, пока я жив, а после моего отшествия от вас, пожалуй, и скажите".

Все житие Серафима и есть хождение по воздуху, "на аршин от земли" -- такое легкое, что тонкие травы не гнутся под ним, прозрачные звезды одуванчиков не осыпаются. И ножки у него белые, потому что земли не касались, в земле не запачкались. А мы, тяжелые, усталые, по земле влачащиеся, с ногами, в земной грязи увязающими, израненными, окровавленными, можем только смотреть на это неземное видение и пугаться, и плакать, как бедные сестры Дивеевские.

"Аршин от земли" между ним и нами, между грешною землею и безземною святостью -- вот несоизмеримость двух порядков, которая составляет сущность христианства. Мы не сомневаемся, что Серафим обладал реальной силой, которая побеждала, если не физическое, то метафизическое притяжение земли; но он обладал этою силой *один для себя* и сообщить ее другим не мог. Чтобы подняться надземлею, он должен был оттолкнуться *от* земли, -- оттолкнуть от себя землю; но привлечь ее к себе, поднять за собою не мог. Он возвышался, а земля унижалась; и чем выше он, тем ниже земля. Его подъем -- провал земли. И то, что делал он, последний святой, делает вся христианская святость.

В другой раз, подходя к дальней батюшкиной пустыньке по дремучему лесу, старица Матрена увидела вдруг о. Серафима, сидящего на колоде, а возле него медведя. Матрена обмерла от страха, закричала во весь голос: "Батюшка, смерть моя!" -- и упала. О. Серафим, услышав голос ее, ударил зверя и махнул ему рукой. Тогда медведь, как разумный, пошел в ту сторону, куда махнул старец -- в чащу леса. Но Матрена продолжала кричать: "Ой, смерть моя!" О. Серафим подошел к ней и сказал: "Нет, матушка, это не смерть, а радость". И повел ее к колоде, на которой сидел; помолившись, усадил ее и сам сел рядом. Не успели они сесть, как тот же медведь вышел из лесу и, подойдя к о. Серафиму, лег у ног его. "Я же, находясь вблизи такого страшного зверя, -- рассказывает Матрена, -- сначала была в великом трепете, но потом, видя, что о. Серафим обращается с ним, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из рук хлебом, который принес в сумке, начала мало-помалу оживотворяться верой. Особенно чудным казалось мне лицо великого отца моего: оно было светло, как у ангела, и радостно. Наконец, когда я совершенно успокоилась, а старец скормил почти весь хлеб, он подал мне остальной кусок и велел самой покормить медведя. Но я отвечала:

-- Боюсь, батюшка, он и руку мне отъест.

Старец же посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:

-- Нет, матушка, веруй, что не отъест руки твоей.

Тогда я взяла хлеб и скормила его весь с таким утешением, что желала бы еще кормить его, ибо зверь был кроток и ко мне, грешной, за молитвы о. Серафима.

Видя меня спокойною, о. Серафим сказал:

-- Помнишь ли, матушка, у преподобного Герасима на Иордане лев служил, а убогому Серафиму медведь служит. Вот и звери слушают нас, а ты, матушка, унываешь. А о чем нам унывать? Вот если бы я взял с собою ножницы, то остриг бы его.

Тогда я в простоте сказала:

-- Батюшка, что, если этого медведя увидят сестры; ведь они умрут от страха?

Но он отвечал:

-- Нет, матушка, сестры его не увидят.

-- А если кто-нибудь заколет его? -- спросила я. -- Мне жаль его...

-- Нет, и не заколют: кроме тебя никто его не увидит.

Я еще думала, как рассказать мне сестрам об этом страшном чуде.

-- Нет, матушка, -- ответил о. Серафим на мои мысли, -- прежде одиннадцати лет после моей смерти никому не поведывай, а тогда воля Божия откроет -- кому сказать".

"У всякой твари человеку смиренному соблюдается честь, -- говорит Исаак Сириянин. -- Приближается ли он к свирепым зверям, едва только обратят взор свой на него, укрощается свирепость их -- и подходят к нему, как к своему владыке, понижают главами, лижут руки и ноги его, потому что учуяли благоухание, которое исходило от Адама до грехопадения, когда звери собраны были к нему и он нарекал им имена в раю. Это отнято у нас, но обновил и возвратил нам Христос. *Сим-то и помазано благоухание человеческого рода*".

Вот где христианская святость выходит из своих пределов, как бы переливается чрез край. Вот где нарушается реальным воплощением, физикой метафизика христианской святости. По метафизике, все плотское противоположно духовному, все человеческое и тем более зверское -- Божескому; недаром в лике диавольском чудится лик звериный. Какое же соединение человека со зверем в Боге? Но вот св. Герасим со львом, св. Серафим с медведем -- светлый лик ангельский рядом с темным ликом звериным -- что это значит? Может быть, сами святые не знают. Тут вообще вся христианская святость более значит, чем знает; более вещает, чем ведаёт.

Христос в пустыне *был со зверями*. Это в начале, а в конце: *проповедуйте Евангелие всей твари*. -- *Ибо вся тварь совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божиих*. -- Богочеловек искупил человечество, Богочеловечество искупит всю тварь.

Но в христианской святости это -- еще не откровение, а чаяние; не тело, а тень; не заря, а зарница. То древнее помазание, "райское благоухание человеческого рода", которому повинуются тварь, возвращено христианством лишь каждому человеку в отдельности, поскольку он "свят", а не всему человечеству, не всему миру.

VIII

"Мир есть область иного, то есть князя века сего, -- говорит Серафим. -- Не освобождаясь от мира, душа не может любить Бога. Нельзя вполне отречься от мира, оставаясь в мире. Чтобы ощутить свет Христов, надобно отвлечь себя от видимых предметов, не иметь в себе никаких чувственных представлений, как бы скрыться в сердце земли. Должно быть ко всему мертвым. Другого пути нет".

Бог без мира или мир без Бога; дух без плоти или плоть без духа. "Дух должен обитать как бы в бестелесном теле". "Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча сгорит и человек умрет. Но душа бессмертна".

Если бессмертна только душа, то что значит воскресение плоти? Бессмертие души знали Платон и Сократ. Чтобы открыть людям эту старую истину, или, вернее, старую ложь -- потому что полуистина и есть ложь, -- незачем было являться Христу.

И ежели весь мир есть "область иного", царство диавола, то что значит: *Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал за мир*? Бог возлюбил царство диавола? Бог отдал Сына диаволу? Эти неразрешимые антиномии, как железо гвоздное, пронизывали некогда все христианство. Но железо притупилось, вросло в тело и уже почти не ранит его, даже почти не чувствуется. Глубина противоречия сделалась плоскостью. И если бы еще тысячелетия прошли, христианство не сдвинулось бы с этой плоскости.

Как в созерцании, так и в делании метафизика христианской святости ни на один волосок не подвинулась -- от Герасима со львом до Серафима с медведем. "Сам себя убиваю, потому что не могу жить нечисто". Этот завет первых святых исполняет последний.

Два с половиною года Серафим питался травой *снатью*. "Ты знаешь снитку? Я рвал ее да в горшочек клал; немного вольешь, бывало, в него водицы и поставишь в печку--

славное выходило кушанье. На зиму снитку сушил и этим питался". От истощения заболел водяною болезнью. Все тело распухло. Три года пролежал в постели, едва не умер, но от лечения отказывался. Наконец, Божия Матерь явилась ему в видении и коснулась жезлом бедра его. "У меня на том месте, на правом бедре-то и сделалось углубление, вода-то вся в него и вытекла; а рана пребольшая была, и до сих пор яма-то цела, матушка, погляди-ка, дай ручку". "И батюшка сам, бывало, возьмет, да и вложит мою руку в яму, и велика же она была у него, так вот весь кулак и взойдет".

Но главную помощь в борьбе с плотью оказали ему разбойники, которые однажды в лесу избили его почти до смерти: голова была проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, все тело покрыто смертельными ранами; удивлялись, как мог он остаться в живых.

Еще раньше, придавленный упавшим деревом, сгорбился. После нападения разбойников, от побоев, ран и болезни, эта сгорбленность увеличилась. Некогда высокого роста, двух аршин восьми вершков, сделался теперь низеньким, как бы вросшим в землю, ходил, наклонившись вперед и подпираясь топором, мотыгою или палкою. "Так эта согбенность и осталась на всю жизнь его венцом победы великого подвижника над дьяволом", -- заключает Летопись.

Но и эту победу не удовольствовался, продолжал гнуть согбенную плоть все ниже и ниже, топтать ее, как победитель топчет врага.

На обоих плечах носил железные вериги с подвешенными крестами, одни спереди, другие -- сзади, и еще железный пояс. В сильные морозы, чтобы железо не жгло тела, накладывал на грудь чулок или тряпку. В баню совсем не ходил. Жил в нетопленной келье зимою; летом, собирая мох с болот для удобрения огородных гряд, раздевался донага, "препоясав чресла свои", и насекомые жалили голое тело, так что оно опухало, синело, запекалось кровью. "Раз прихожу к батюшке в пустыньку, а у него на лице мухи, кровь ручьями бежит по щекам. Мне жаль его стало, хотела спугнуть их, а он говорит: "Не тронь их, радость моя, всякое дыхание да хвалит Господа".

Таково истинное самоумерщвление святых -- самоубийство не мечом, а мушиними жалами.

И после всех этих подвигов, кажется, не достиг покоя. Незадолго до смерти повторял, указывая на небо, как будто тихо стонал, изнемогая от бесконечной усталости: " Там лучше, лучше, лучше!" Не значит ли это, что и ему, святому, так же, как нам, грешным, было *здесь* плохо?

Перед самою смертью уже ни с кем не говорил, почти не выходил из кельи. Сидя на гробе, который приготовил для себя, и "помышляя о загробной участи всех людей вообще и *своей собственной*, -- горько плакал". О чем? -- Там будет плач и скрежет зубов.

Предсмертный плач Серафима напоминает рассказ о том авве, который кормил леопарда из рук, а во время кончины был истязуем, как последний из грешников, и "осталось неизвестным решение суда". Неужели и Серафим, великий святой, плакал, как маленькие дети, от страха. Неужели и он сомневался в своем спасении? -- *Кто же может спастись?* -- И что делать мне, грешному? Да и стоит ли что-нибудь делать? Я все равно погиб; и не я один, а весь мир. Это и значит: "Мир есть область иного", то есть дьявола; мир есть победа дьявола над Богом.

Тут какая-то страшная тень в сияющей, как солнце, Серафимовой святости. Когда я смотрю на лицо его, я готов думать, что тень во мне, а не в нем, что в глазах моих, ослепленных солнцем, темнеет. Но по мере того, как я вглядываюсь в лица людей, окружающих его, я начинаю различать на них колебания, мерцания света.

В Дивеевской девичьей общине, которая находилась рядом с Саровским монастырем и о которой Серафим особенно заботился, была начальница Ксения Михайловна Кочеулова, старушка маленькая, сухонькая, подвижная и чрезвычайно строгая. "Станет выговаривать, думаешь, вот-вот убьет, сейчас умрешь". Келейница Евдокия

подпоясалась однажды двумя красными тесемочками. Увидала это матушка Ксения. "Что это, говорит, вражью-то силу ты на себя надела?" Сняла с нее тесемочки и сожгла в печке. В другой раз сшили Евдокии новую ряску, в которой и пришла она в церковь. Стоит, а матушка Ксения своею клюшкою и достает ее: "На что это, говорит, ты восемь-то бесов себе насадила? (то есть восемь клиньев в платье). Ай-ай, всечестная Евдокиюшка, Бога ты не боишься. Выпори, выпори, матушка!"

У Ксении была больная дочка Оря. Кто-то подарил ей чайник и чашечку. Узнала это Ксения и разгневалась. Оря обещала не дотрагиваться до них, но матушка не успокоилась. "Что ты, что ты? Из них хотя пить-то не будешь, Оря, все же соблазн-то какой! Утешь ты меня, старуху, Орюшка, разбей ты их, матушка, да и черепки в землю зарой. Можно ведь пить из деревянной или чугунной посуды, а то гляди-ка грех-то какой! Какое малодушие!"

Вся радость мира для Ори в этом чайнике и чашечке. Не зарыла ли она в землю с черепками и бедное сердце свое? Это кажется жестокостью. Но ведь "кто не ожесточит сердца своего, тот не может угодить Богу". За это святое жестокосердие Серафим и считал матушку Ксению "огненным столпом от земли до неба, бичом духовным".

Так судил о ней Серафим, а иным казалось, что матушка Ксения, "не тем будь помянута, скупенька была". "Всегда, бывало, бранила и выговаривала в трапезе, что все-де скоро выходит, всего много надо, -- рассказывает мать Капитолина. -- А чтобы после трапезы да кому дать кусочек, и Боже упаси! Так строго заведено было, что, по правде, частенько сестры-то друг у друга хлебец тихонько брали (то есть крали). Вот и узнал это батюшка Серафим, да и потребовал ее к себе. "Что это, матушка, я слышу, ты вволю не даешь поесть сиротам". И пошел, и пошел. А она-то так и сяк оправдывалась перед ним. А батюшка все свое: "Нет, говорит, нет, матушка, нет тебе от меня прощения! Ты бы потихоньку давала, да не запирала, тем бы и спаслась". Матушка Ксения так и ползала на коленках у ног батюшки, но он со скорбью, грозно говорил: "Нет, матушка, нет тебе от меня прощения!" С тем и ушел батюшка, не благословив матушку Ксению. А она пришла, бедная, домой, вскоре начала хворать, зачахла и умерла".

За что же?

Когда она умирала, может быть, вспомнилось ей, как много лет назад Анастасия, тогдашняя начальница, застала ее однажды собирающую сухие корки каши от трапезы: она размачивала их в воде, чтобы дать лишний раз поесть своей голодавшей девочке Оре. Начальница осудила ее за то, что она нарушила пост для больного ребенка -- украла у Бога для человека. И Ксения покаялась, исполнила завет святых -- "омертвела сердцем для своих близких", стала "скупенька", и в этой скупости сделалась "столпом огненным от земли и до неба, бичом духовным", по признанию самого Серафима. За что же он осудил ее? "Потихоньку бы давала", -- краля бы у Бога "и тем бы спаслась". Но ведь тогда, при матушке Анастасии, она и краля, да чуть не погибла; а теперь не краля и погибла совсем. Не повернешься -- бьют и перевернешься -- бьют. Людей поллюбишь, Бога не доллюбишь; Бога поллюбишь, людей не доллюбишь. А любить людей и Бога вместе -- с этим и Арсений Великий не справился, куда же матушке Ксении?

Когда "ползающую на коленках" Серафим оттолкнул ее от ног своих, как собаку, то она и умерла как собака, без ропота. Ну, а если бы возропала, потребовала у Бога суда на своего судью и убийцу?

Страшен суд его над нею, но, может быть, еще страшнее будет суд ее над ним. И уж, конечно, спросят на этом суде не только красные тесемочки, разбитые чайник и чашечка, сухие корочки каши, но и весь мир, вся плоть, вся земля -- *Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все, живущее в ней*. Зачем землю Господню отдали дьяволу?

"Как связать мне плоть мою и судить се? Не знаю. Она -- и друг мой, и враг мой; она помощница моя и соперница; она -- заступница и предательница. Какое это во мне

таинство? Какое соединение противоположностей?"

Это противоречие, это железо гвоздное вросло в тело христианства и уже не убивает его, а только делает "согбенным". И если тело когда-нибудь выпрямится, то железо пронзит сердце -- и всему телу, всему христианству -- конец.

IX

Брак и девственность яснее всего обнаруживают основное противоречие в метафизике христианской святости -- у Серафима, последнего святого, так же как у первых.

Однажды, в начале своего подвига, во время литургии, по перенесении Даров на Престол, когда пропета была вторая половина Херувимской, о. Серафим приблизился к Престолу и сказал о. Исайи, строителю Саровской пустыни:

-- Батюшка, отец строитель, благослови, чтобы на мою гору, на которой живу теперь, женам не было входа.

О. Исайя, намереваясь читать молитву предложения, ответил на это с досадою:

-- В какое время и с каким вопросом подошел ты, о. Серафим?

-- *Теперь-то* и благослови, батюшка! -- настаивал тот. Нечего делать, подали образ Пресвятой Богородицы,

Блаженное чрево, и старец Исайя, благословляя о. Серафима иконою, сказал:

-- Благословляю, чтобы не было женам входа на твою гору, а ты сам охраняй.

Недаром выбрал Серафим самую торжественную минуту литургии для своей просьбы: в этом благословении совершилось его второе и главное пострижение -- принятие великого чина девства.

Он имел на то знамение: прежде чем приступить к о. Исайи, молился, чтобы Господь преклонением древесных ветвей указал ему волю Свою о невходе к нему жен. И, действительно, на следующий день оснеженные лапы дремучих елок и сосен наклонились будто бы к земле, завалив узкую тропу, которая вела в пустынь, так что он и сам едва пробрался сквозь них. С тех пор могли проходить к нему только медведи, а женам, которые опаснее лютых зверей, не было входа.

-- Бойся, как геенского огня, галок намазанных! -- говорил он о женщинах.

Женщин боялся и ненавидел, а девушек любил.

-- Как я и сам девственник, то Царица Небесная благословила, чтобы в обители моей были одни девушки.

Перед кончиною окопали Дивеево канавкой с валом: одни девушки могли жить за этою канавкою. Недоступная женам, киновия девственниц и есть святая святых Серафимовой святости.

Любовь его к земным девушкам вытекает из любви к Небесной Деве.

Этот русский мужик в лаптях, косолапый старичок, друг медведей, сам похожий на медведя -- рыцарь Небесной Дамы, таинственный жених Невесты Невестной.

Он имел одно виденье,

Непостижное уму...

С той поры, сгорев душою,

Он на женщин не смотрел.

Серафим Огненный тоже "сгорел душою" и умер в пожаре любви перед образом своей Владычицы, "всех радостей Радости".

Вечная девственность -- "вечная женственность", что это значит в христианской святости?

Из трех ипостасей Троицы лик Отца открывается в космосе, лик Сына -- в логосе; но лик Духа ни с чем не открылся доньше; третье место Троицы остается пустым, и

наполнить его не может трепетание крыл голубиных, ибо голубь -- не явление, а только символ Духа. Это-то третье место, рядом с двумя ипостасями Божескими, занял смертный человек -- бедная девушка из Назарета Галилейского, земная Мать земного человека Иисуса, который сам как бы отрекся от нее, говоря: *Где мать Моя? -- Кто исполняет волю Мою, тот Мне -- мать.*

Не отвлеченно-созерцательная, а воплощенно-действенная христианская Троица -- Отец, Сын и Матерь Божия. В католическом культе Мадонны и в православном почитании Богородицы -- уклон всего христианства -- от религии Сына к религии Матери.

На страшном суде Мать ходатайствует перед Сыном за осужденных; но и Дух, который *ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными*, не есть ли то же вечное материнство? Первое явление вечной женственности -- Матерь Божия в христианстве; последнее в Апокалипсисе -- *Жена, облеченная в солнце*, --откровение Духа Святого, плоти святой, Церкви как Царства, Богочеловека в богочеловечестве. Лик Отца открылся в мире Божисм, дочеловеческом; лик Сына -- в Богочеловеке; лик Духа откроется в богочеловечестве -- в последнем соединении слова с плотью мира, Сына с Отцом. Но тут уже кончается второй Завет и начинается третий. Ибо если не две, а три ипостаси, то и не два, а три Завета. В христианстве же самом это опять-таки -- еще не откровение, а чаяние, не заря, а зарница, не тело, а тень.

Как относится к Небесной Деве-Матери земное девство, земное материнство, или, другими словами, как относится к подлинно-христианской, безбрачной святости подлинно Христова святость брака: *будут двое плоть едина* -- в этом вопросе для христианства все -- загадка, все -- недоумение, нее -- противоречие без разрешения.

"Меня в ту пору, как пришла я к бабушке-то в первый раз, все замуж сватали, -- рассказывает старица Акулина. -- Прихожу это я к бабушке, а он и говорит:

-- Что, матушка, лучше: рожь или пшеница?

-- Как можно, -- говорю, -- за белый-то хлеб скорее хватисься.

-- То-то, то-то, матушка. Ну, а что лучше: земной или Вечный?

-- Вечный, бабушка, лучше, --- говорю".

Это значит: небесный брак со Христом, девство, лучше земного брака. Акулина и осталась в девушках, предпочла пшеницу ржи, лучшее худшему. Но ведь лучше и хуже есть мера относительная, человеческая; в Боге же нет ничего относительного, есть только абсолютное. Или таинство брака вовсе не таинство, или оно есть утверждение абсолютной святости брака. И вот, однако, девство, безбрачие -- другая столь же абсолютная и противоположная святость. Как могут быть две святости, которые взаимно исключаются? Можно сравнивать белый хлеб с черным, но нельзя делать то белый -- черным, то черный -- белым. И не то удивительно, что Серафим не разрешает, а то, что даже не замечает этого противоречия.

Если спросить его в упор, он, разумеется, скажет, что брак свят -- и замолчит. Но не то, что он скажет, а то, о чем умолчит, и будет именно то, что делает его святым. Это умолчание -- как бы заповедная канавка, ограждающая киноию дивеевских девушек, как бы наклонившиеся ветви елок и сосен, которые завалили тропу в Серафимову пустыньку. Тут что то есть, о чем нельзя говорить. Одно шпорится, но не делается; другое делается, но не говорится; и это последнее -- самое подлинное, святая святых всей христианской святости.

Один юноша спросил Серафима, благословит ли он его на поступление в монастырь. Старец сказал:

-- На это *принуждение* от Господа нет. Остайся в мире, женись...

Юноша возвратился домой, но еще сильнее воспламенился к иночеству и через полтора года поступил в Саровскую пустынь.

Серафим сказал: "женись", -- но сказал так, что у юноши пропала охота жениться. Сказал: иди вправо, -- а поманил влево. И это тайное мановение сильнее, чем явное

принуждение. То, что сделал Серафим, делает и все христианство: говорит о святости брака и молча манит к девству. Брак не запрещен, но перестал быть пленительным, соблазняющим; а для свободы человеческой отсутствие соблазна сильнее запрета. Христианство принимает брак, но лишь концом уст, чтобы не проглотить, а выплюнуть. Громогласно венчает, а потихоньку развенчивает. Не топчет, не мнет цветов брака, а только смотрит на них дурным глазом, как бы освещает темным лучом радия -- и цветы вянут.

Брак сначала рожь, потом рожки, которыми питаются свиньи, и, наконец, та грязная лужа, в которой полощутся бесы, как свиньи.

-- Бедная-то общинка наша в Дивееве своей церкви не имеет, а ходить-то им в приходскую, где крестины да свадьбы, не приходится, ведь они -- девушки, -- жалуется Серафим.

"Крестины да свадьбы", то есть таинства крещения и брака, оказываются непристойностью, нечистотою, на которую нельзя смотреть чистым девушкам.

Нечаянно вырвалось у Серафима это слово, даже почти не слово, а мановение, движение брезгливости, но оно правдивее слов; и если довести смысл его до конца, то получится вывод Л. Толстого, тоже "христианина": всякое половое общение -- "просто гадость"; или вывод хлыстов и скопцов: "брак перед людьми дерзость, а перед Богом мерзость"; или, наконец, вывод, никем пока не сделанный, но неизбежный: девство -- от Бога, брак -- от дьявола.

Будущая дивеевская старица Елена Васильевна Мантурова, когда минуло ей семнадцать лет, вдруг возненавидела жениха своего. "Не знаю, почему, не могу понять, -- ничего не сделал он дурного, но вдруг страшно мне опротивел".

Вскоре после того ей было видение. "Я взглянула вверх и увидела над своей головой огромного змия; он был черен, пламя выходило из пасти, и она казалась такою большою, что я чувствовала, что он поглотит меня. Видя, как он вьется надо мною, спускаясь все ниже и ниже, даже ощущая дыхание его, я, наконец, закричала: "Царица Небесная, спаси! Даю Тебе клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь". Тотчас же змий взвился и пропал".

А Елена поехала в Саров к Серафиму просить о пострижен ни. Он советовал ей выйти замуж. Она отказывалась, ссылаясь на обет. Он стоял на своем. "Что это вы говорите, батюшка, да я не могу, не хочу я замуж"... -- "Нет, нет, радость моя, тебе уже никак нельзя, ты должна выйти замуж!" Спор длился три года.

-- И даже вот что еще скажу тебе, радость моя, -- прибавя однажды старец. -- Когда ты будешь в тягостях-то, так не будь слишком на все скоро. Ты слишком скоро, радость моя; а это не годится. Будь тогда ты потише. Вот, кик ходить-то будешь, не шагай так-то, большими шагами, а все потихоньку, да потихоньку. Если так-то пойдешь, благополучно и снесешь.

И пошел перед нею, показывая, как надо ходить беременной.

- Во, радость моя!.. Также и поднимать если что тебе случится, не надо так вдруг, скоро и сразу, а вот так, сперва понемногу нагибаться, а потом точно также все понемногу и разгибаться.

И опять показал на примере.

Змий, от которого она спаслась обетом безбрачия, был, конечно, *дьявол брака*. Змий страшен; но, может быть, еще страшнее святой старец, который, юродствуя, ругается во славу Матери Небесной над материнством земным.

Однажды какой-то мужичок застал его в лесу наедине с шестнадцатилетней девушкой, красавицей, и соблазнился испугался, почти так же как Матрена, заставшая его с медведем. Но, когда мужичок подошел ближе, Серафим, указывая на признаки своей глубокой старости, сказал:

-- Я ко всему мертв, а ты что это думаешь?

"Я ко всему мертв". Но ведь не менее мертвы были древние отцы, которые

советовали: "Женщине не позволяй приблизиться к тебе, потому что за нею идет буря помыслов".

-- Приди, да обними, да поцелуй меня, да не один, а десять раз поцелуй-то, матушка!
-- говорит Серафим одной из своих девушек.

-- Ах, да как же это, батюшка, да разве я смею?

-- Да как же не смеешь-то? Ведь не к чужому, ко мне пришла, радость моя, этак к родному не ходят!.. Да где бы это ни было, да при ком бы ни было, хотя бы тысяча тут была, должна прийти и поцеловать.

Как это не похоже на того, кто обвинил руку свою краем одежды, когда нес престарелую мать! Да, а тот, кто советовал: "Ни перед кем не обнажай ни одного члена своего", -- не предвидел, разумеется, что у батюшки Серафима, идущего по воздуху, чулочки спустятся, а девушки будут шептаться: "Посмотрите-ка, ножки-то у батюшки какие белые!"

Женихом своих девушек называет себя Серафим и ревнует, как настоящий жених.

Дивеевских сирот, приходивших в Саров к Серафиму, приглашал иногда о.

Нафанаил, иеродиакон:

-- Что старик-то морозит да морозит вас? Чего стоять-то? Когда еще дождешься?
Зайдите-ка в келью ко мне да обогрейтесь.

"Иные по простоте и заходили. И дошло это до батюшки, и растревожился же он, и страшно разгневался.

-- Как, -- говорит, -- как! Он хочет сироточкам моим вредить? Не диакон же он после этого нашей обители!

И что же, ведь чудо-то какое! Стал вдруг с этого времени пить о. Нафанаил, да все больше и больше. Недели через три и выслали его, отдали под начало, -- так и пропал совсем".

Чем же, собственно, бедный иеродиакон "вредил" Серафимовым девушкам? Он ласков с ними, но ведь уж, конечно, не до того, чтобы обнимать и целовать их, подобно Серафиму. Он только говорил с ними, смотрел на них -- и за то "пропал", может быть, не только в здешней жизни, но и в будущей.

Как женщины Востока ни перед кем, кроме повелителя своего, не смеют поднять покрывало с лица, так и Серафимовы девушки.

С одной из них, Марией, заговорила родная сестра ее, Параша, о ком-то из монахов Саровских.

-- А какие видом-то монахи, на батюшку, что ли, похожи? -- спросила вдруг Мария с детским любопытством.

-- Что ты, Маша! Ведь ходишь в Саров -- разве не им дал а монахов, что спрашиваешь?

-- Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу и не знаю: батюшка Серафим мне приказывал никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, чтобы только видеть у себя под ногами дорогу.

Русоволосая, голубоглазая, с продолговатым лицом, белым, как лилии Благовещения, эта земная дева Мария, может быть, напоминала Серафиму Божию Матерь Умиления, "всех радостей Радость" -- ту самую, перед которою он и умер, стоя на коленях, Огненный, в огне пожара.

-- Как Господь избрал Екатерину мученицу себе в невесты, так и я из двенадцати дев моих дивеевских избрал и невесты в будущем -- Марию, -- говаривал Серафим, и едва ли простая обмолвка то, что тут ставит он себя самого ни место Жениха Небесного.

Сама невеста различала ли этих двух своих женихов -- Христа и Серафима?

Тринадцати лет поступила она в Дивсеv, шесть лет проходила с платком на глазах, ничего не видя, кроме лица батюшки, девятнадцати лет умерла. Серафим подарил ей дубовый круглый выдолбленный гроб: в сущности вся ее жизнь и была этим гробом, который приготовил для нее батюшка. И теперь лежала она в гробу с распущенными

волосами, как невеста.

Во время отпевания родной сестре ее, Параше, было видение: в царских воротах -- Мать Божия с покойною Марией, вместе стоящие на воздухе. В исступлении Параша закричала громко на всю церковь: "Царица, не остави нас!" И начала юродствовать, пророчествовать, снимать с себя и раздавать одежду; наконец, ослабела и упала замертво. Тогда по всей церкви "бесы зашумели, закликали".

Что же, собственно, означает этот бесовский клич -- и иное поражение или тайное торжество, по поводу соединения или только смешения земной девы Марии с Небесною? И пока "бесы кликали", что же делал Серафим? Неужели молчал?

У старицы Елены, той самой, которой являлся диавол брака в виде змия и перед которой Серафим, юродствуя, представлял беременную женщину, был брат, Михаил Васильевич Мантуров, человек богатый, "благодетель" Саровской обители. Однажды Серафим призвал к себе Елену и сказал ей:

-- Ты всегда меня слушала, радость моя, и вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?

-- Я всегда слушала вас, батюшка, и теперь послушаю.

-- Во, во, радость моя! Так, видишь ли, матушка: Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас и пришло время ему умирать... Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители нашей, для сирот-то... *Так вот и послушание тебе: умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка!*

-- Благословите, батюшка, -- ответила старица Елена смиренно и как будто спокойно.

О. Серафим после этого еще долго беседовал с нею, утешая и приготавливая к смерти. Она молча все слушала, но вдруг сказала:

-- Батюшка, я боюсь смерти.

-- Что нам с тобой бояться-то смерти, радость моя? -- возразил о. Серафим. -- Для нас с тобою будет лишь вечная радость.

Простилась Елена, пошла, но лишь переступила за порог батюшкиной кельи, тут же и упала. Подхватили ее; о. Серафим приказал положить ее на стоявший в сенях гроб, а сам принес святой воды, окропил Елену, дал ей напиться и привел в чувство. Вернувшись домой, Елена заболела, слегла в постель и сказала: "Теперь я не встану". И не встала.

Серафим уложил в гроб Елену, так же как Марию.

Нам казалось, что жизнь отнять у человека никто не имеет власти, кроме Дающего жизнь. Но вот оказывается, что эту власть имеет л. Серафим. Нечеловеческая власть, какой нет у самодержавнейших властителей, ибо они могут только убить человека, а Серафиму не нужно убийства -- он говорит: умри, -- и человек умирает. *Отнимет дыхание свое, и в прах свой возвращается* -- можно бы сказать о нем, как о Боге. Он это говорит о себе:

-- Кто против Господа, Царицы Небесной и против меня, убогого, пойдет, не дам ему жития ни здесь, ни в будущем!

Значит, не только на временную, но и на вечную смерть может осудить Серафим! Рядом с Царицей Небесной и с Господом -- он, "убогий". Но если это -- убожество, то где же величие, которое посягнуло бы на что-либо подобное? Все человеческие славы -- Александра, Цезаря, Наполеона -- не осыпаются ли, как одуванчики, под легкими ножками батюшки, который идет по воздуху?

-- Тобою некоторые соблазняются, -- сказал кто-то Серафиму.

-- Но я не соблазняюсь ни тем, что одни мною пользуются, ни тем, что другие соблазняются.

Действительно ли он сам никогда не соблазнялся?

Одна беглая крепостная девушка остригла себе волосы, имела мужскую послушническую ряску и так странствовала по миру. На нее донесли, и полиция задержала ее. При допросе она показала, будто бы о. Серафим благословил ее одеться

мужчиной. Разумеется, это клевета, так же как и все прочие соблазнительные толки о Серафиме и Динссиских девушках. Но светское начальство всполошилось, приказало духовным властям произвести розыск, допросить Серафима. Началась канцелярская переписка. Ног когда, должно быть, "бесы зашумели, закликали". Несказанная тайна христианской святости, которую дремучие ели и сосны укрывают склоненными ветвями, становится предметом полицейского розыска. Дело, конечно, вскоре замяли, потому что тут, собственно, и не было никакого "дела", а было только наваждение бесовское: этот крепостной андрогин кажется не живым человеком, а призраком, оборотнем, чертовой куклой, нарочно подsunутой для соблазна малых сих.

Тем не менее, это происшествие так сокрушило Серафима, что он тогда же сказал: -- Все сии обстоятельства означают, что близок конец моей жизни.

И вскоре, действительно, умер. Перед смертью, "сидя на гробе, горько плакал".

Повторил ли бы он и тогда, все с тем же неземным спокойствием: "Я не соблазняюсь"?

Когда он идет по воздуху, то кажется -- "сей не рода нашего"; но вот согбенный, одиноко сидящий на гробе и одиноко плачущий старик: этот уж, во всяком случае, *нашего рода*. Некогда, по молитве его, преклонялись до земли вековые деревья; и вот, кажется, теперь он сам гнется, могучее дерево, как слабый тростник под какою-то страшной тяжестью. Эта тяжесть -- не то же ли опять-таки вечное недоумение всей христианской святости: "Какое это во мне таинство? Не знаю".

"И батюшка Иванушка, и батюшка Аверьянушка, может быть, и батюшка Серафим -- *сам Христос во плоти*". -- Не один, а много Христов -- вот метафизическая ложь хлыстовства. Метафизическая правда его в том, что оно ищет Христа грядущего. Но в этих исканиях смешивается откровение Сына с откровением Духа, Богочеловек с богочеловечеством. Явление Сына Единородного может быть только единым и неповторяемым в едином и неповторяемом лике Христовом. Единство же этого лика должно повториться в объединенной человеческой множественности, как лик уже не Сына, а Духа. *И Дух, и Невеста говорят: прииди!* Первое пришествие -- во плоти человека; второе пришествие -- во плоти человечества, в святой плоти мира, которая есть последнее откровение последней ипостаси -- Духа. Явление Сына -- в Богочеловеке, явление Духа -- в богочеловечестве.

Бессознательная мистика хлыстовства -- новая, бездонно-глубокая; но метафизическое сознание -- старое и слишком короткое; вот почему, дойдя до края своей метафизики, мистика срывается и падает в "глубины сатанинские".

Срывался ли Серафим? Не знаем, хотим верить, что нет; но что идущие за ним срывались, это мы знаем.

Х

В городе Арзамасе, в доме купца Королева падчерица его, Пелагея, маленькая девочка, однажды заболела и, пролежав сутки в постели, из умного ребенка сделалась дурочкой: "Уйдет, бывало, в сад, поднимет платице, станет и завертится на одной ножке, точно пляшет. Уговаривали ее и срамили, даже били, но ничто не помогало -- так и бросили".

Никто, разумеется, не учил Пелагею хлыстовской пляске; но если бы хлысты увидели ее, вертящуюся на одной ножке, они решили бы, что она *ходит в Духе*.

Вся последующая жизнь ее была ни чем иным, как той же неистовой пляской: завертелась в саду, обезумела -- и продолжала вертеться, безумствовать, *юродствовать* до самой смерти. Пелагея сделалась "Христа ради юродивою".

В христианстве западном, католичестве, более деятельном и трезвом, почти нет юродства; оно развивается в христианстве восточном, более мистическом, созерцательном и опьяненном, особенно в русском православии, в соприкосновении с

русским народным хлыстовством. Юродство и есть хлыстовство, *христовство* в самом христианстве.

"Пелагея -- второй Серафим", -- так называли ее все, когда она прославилась. "Эта женщина будет великий светильник", -- предрек о ней старец, впервые увидев ее. "Ты будешь свет миру", -- сказал он будто бы ей самой. Однажды на работе в поле, снимая со стога сена другую "блаженную", Серафим приветствовал ее с ласковой усмешкой: "Ты, радость моя, превыше меня!" Точно так же мог бы он приветствовать и Пелагею.

Спрашивается: неужели Пелагея -- "второй Серафим" и даже "превыше Серафима", именно потому что продолжила и завершила главное дело серафимовской святости -- как бы высказала несказанную тайну этой святости в подвиге юродства, на который и благословил ее Серафим? "Батюшка Серафим разрешил мне от рождения до успения", -- говорила сама Пелагея.

Когда минуло ей шестнадцать лет -- она выросла красавицей, -- мать поторопилась выдать замуж "дурочку". Сама Пелагея не хотела замуж, делала все, чтобы отвадить жениха и расстроить свадьбу; но ее выдали насильно. Вскоре после свадьбы с мужем и матерью поехала в Саров. Серафим долго беседовал с Пелагеей наедине -- о чем, осталось между ними тайной; но беседа эта решила ее судьбу.

С той поры возненавидела она мужа, как может ненавидеть человек не человека, а дьявола. *Дьявол брака*, который являлся Елене в виде змия, явился и Пелагее, только еще в более страшном виде собственного мужа, арзамасского мещанина Сергея Васильевича Серебрянникова. И началась борьба человека с дьяволом.

Родился ребенок.

-- Какого хорошенького сынка дал вам Бог, -- говорили родные.

-- Дал-то дал, да вот прошу, чтобы и взял. А то что шататься-то будет! -- отвечала Пелагея при муже.

Родился второй сын. Вскоре оба мальчика умерли, "*конечно, по молитве блаженной*", -- прибавляет Летопись с простотой: святая простота, от которой у нас, грешных, волосы дыбом встают.

Муж бил жену. Она стала чахнуть и, наконец, решила бежать во что бы то ни стало. Когда через два года родилась у них девочка, Пелагея, не глядя на нее, положила в подол, как щенка, которого несут на речку топить, принесла к матери и, бросив, сказала:

-- Ты отдавала, ты и нянчись теперь; я уже домой больше не приду.

Опять-таки спрашивается: неужели это и есть "христианский брак", в своей последней сущности, для не могущих вместить -- таинство, а для могущих -- детоубийство? Неужели Пелагея только высказала окончательно то, на что Серафим намекал, когда, тоже юродствуя, *хлыстовствуя*, представлял беременную женщину и ругался, во славу Небесной Матери, над материнством земным? На это ли благословил он ее? Это ли разрешил ей "от рождения до успения" -- "будешь свет миру"?

Убежав из дому, Пелагея бродила нищей по улицам города, от церкви к церкви. "Муж, бывало, поймают ее и бьет чем ни попало, поленом -- так поленом, палкой -- так палкой; запрет ее, морит голодом и холодом, а она не унимается и твердит одно:

-- Оставьте, меня Серафим испортил!"

Здесь, конечно, "испортил" значит "исправил". Едва ли, впрочем, вся метафизика христианской святости когда-либо разберется, что же, в конце концов, -- "испортил" или "исправил"?

Доведенный до исступления муж, согласившись с матерью Пелагеи, притащил ее в полицию и попросил городничего наказать жену розгами. Это -- второе вмешательство полиции в тайны дивеевской святости.

Городничий велел привязать Пелагею к скамье и так высек, что "ключьями висело тело, кровь залила всю комнату, а она, моя голубушка, хоть бы охнула", рассказывала впоследствии мать.

На время "дурочка" как будто утихла. Но потом опять стала буйствовать. Тогда муж заказал для жены, как для никою зверя, железную цепь с кольцом, собственными руками заковал ее, привинтил кольцо к стене и начал истирать. Но иногда ночью она обрывала цепь, потому что была очень сильна, и бегала по городу, наводя на всех ужас.

Однажды в лютую зимнюю стужу, полуголая, спряталась на паперти церкви, в гробу, приготовленном для умершего от холеры солдата, и здесь ждала смерти. Завидя церковного сторожа, выскочила из гроба и бросилась к нему, моля о помощи. Тот, в ужасе от привидения, взбежал на колокольню и, забив набат, всполошил весь город.

Тогда муж окончательно отрекся от жены и выгнал ее из дому. Младшая сестра ее, Авдотья, думая, что ее не берут замуж, потому что боятся, как бы и она не сошла с ума, подобно Пелагее, подговорила негодяя, хорошо умевшего стрелять, убить сестру в то время, когда она будет бегать за городом и юродствовать. Он подкараулил ее и выстрелил, но дал промах. Она предсказала ему, что он стрелял не в нее, а в себя, а через несколько месяцев он действительно застрелился.

"Дурочку" стали возить по святым обителям, к чудотворным иконам и мощам, к Тихону Задонскому, к Митрофанию Воронежскому, к старцу Антонию Смирницкому в Киев, не исцелит ли кто-нибудь. Никто не исцелил. Наконец, как бы описав полный круг, вернулись туда, откуда все началось, -- к Серафиму в Саров. Ему рассказали все, что произошло с Пелагеей с тех пор, как она у него побывала.

Что же Серафим? Ужаснулся, прослезился хотя бы над великою скорбью человеческой, подобно Господу над гробом Лазаря? Нет, "*Серафим рассмеялся*". Ужасающий смех! Пусть мы тут чего-то не понимаем; пусть хранит он какую-то последнюю тайну святости, которая объяснит и оправдает все -- даже этот смех; но ведь тайну-то эту он хранит *для себя одного*, молчит о ней. А не молчит -- вопиет к Богу кровь Пелагеи, у которой тело висит клочьями, кровь детей, умерших по молитве матери или выброшенных, как щенята в воду, кровь мужа, этого жалкого и страшного "Сергушки", который умер без покаяния, "не зная, кто кого замучил, он ее или она его, кровь того злодея, который из-за нее застрелился; и на всю эту вопиющую кровь единственный ответ -- тихий смех Серафима. Земля залита кровью, а он идет по воздуху чистыми, белыми ножками. "Тобюю некоторые соблазняются". -- "А я не соблазняюсь тем, что мною соблазняются".

Пелагея добилась-таки своего: родные окончательно отступились от нее, привели в Дивеево и там оставили. Сорок лет "безумная Палага" -- так звали ее сестры -- прожила в Дивееве, и эта жизнь -- сплошное самоистязание, медленное самоубийство, как добровольных "осужденников" в древнем Танобе.

Теперь, когда другие не мучили ее, она сама себя стала мучить, и это второе мучение хуже первого. Десять лет "работала с камнями" -- надрываясь, перетаскивала их в мешке с места на место, без всякой цели. "Когда уже стареть стала, -- рассказывает ходившая за нею старица Анна, -- помню, как сейчас, иду я к вечерне, гляжу, подымается и она и говорит: "Господи, вот уж и моченьки нет!" -- вздохнула, а слезы-то, слезы крупные так и катятся по щекам. И так-то мне ее, голубушку мою, жаль стало". Потом придумала "работу с палками": "наберет большущее беремя палок и колотит ими о землю изо всей мочи, пока всех их не перебьет, да и себя-то всю в кровь не разобьет". Потом -- с кирпичами: бросала их в яму с водою нарочно так, чтобы вода брызгала и окачивала ее с ног до головы; возвращалась домой ночью поздно, вся грязная, мокрая -- "тина тиной". И эта "работа" длилась множество лет. Наконец, в старости сделалось у нее что-то вроде водобоязни. "Бывало, нечаянно чуть обрызнешь ее, -- рассказывает та же сестра Анна, -- так и всполошится, так вся и встрепенется: уж больно доняла себя, столько-то лет водою окачиваясь".

Целые дни просиживала в яме навозной, которую сама выкопала, и всегда за пазухой платья носила навоз. Летом и зимой ходила босиком, становилась ногами нарочно на гвозди и прокалывала их насквозь. Однажды, уже в глубокой старости, заблудилась на

пустырях, осенью ночью, под ледяным бураном, в одном легком сарафанишке; выбилась из сил; ветер сшиб с ног; повалилась, сарафан примерз к земле, и она уже не могла встать; так и пролежала девять часов, окоченелая; наконец, сестры нашли и едва отходили.

Иногда бегала по монастырю, бросая камни; била стекла и окна, колотилась головой и руками о стены монастырских построек. Вызывала всех на оскорбления, побои и, когда били, радовалась.

Вид имела страшный: седые, спутанные волосы, голова проломлена, вся в крови, и кишат на ней насекомые; на босых ногах и руках -- длинные когти, подобные когтям зверя.

Когда посещали ее другие "блаженные", то начиналась "война", которая наводила на всех ужас: бывало, на кладбище, между могилами, "бегают, гоняются друг за другом, оба большущие да длинные", безумная Палага с палкой и безумный Федька с поленом, бьют друг друга и ругаются непристойною руганью. "Я сижу, еле жива от страха, -- рассказывает Аннушка, -- грешница я, думаю себе: "Ой, убьют!" Ходила даже несколько раз к матушке-игуменье: "Боюсь, говорю, матушка, души во мне нет, -- пожалуй, убьют"... А матушка-то, бывало, и скажет: "Терпи, Аннушка, дитятко; не по своей-то воле, а за святое послушание с ними, Божиими-то дурачками, сидишь. И убьют-то, так прямо в Царство Небесное попадешь".

И мы должны верить, что исполнилось пророчество: "будешь свет миру"? Полно, какой это "свет"! Не свет ли того черного солнца, которое возшло из преисподней Таноба, не темный ли свет убийственного радия?

Когда умер Серафим, Пелагея сделалась в Дивееве "вторым Серафимом". Не игуменья, а "безумная Палага" была для обители матерью: "ничего без нее не делалось; что она скажет, то свято -- так тому уже и быть".

Мало того: в мудрость безумной верят не только дивеевские сестры, но и люди мирские, "весь христианский народ". "Кней стал стекаться народ, -- говорит Летопись, -- люди разных званий и состояний; все спешили увидеть ее и услышать". "С раннего утра до поздней ночи нет нам отбою, так совсем и замотают: кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о смерти, кто о болезни -- всяк со своими горями и скорбями идет к ней". "Она вытащила меня со дна ада", -- сказал о ней кто-то, и это повторяли многие. "Голос ее, -- по выражению автора Летописи, -- звучит над народом, подобно колоколу -- кто раз услышал, тот уже никогда не забудет".

Что это такое? Какая сила влечет к ней людей? Любовь? Едва ли. "*Любить особенно, Бог ее ведает, любила ли она кого, я не заметила. Ей были все безразличны*", -- замечает Аннушка, которая прожила с ней сорок лет. Какая же любовь, для которой "все безразличны" и которой заметить нельзя? Если христианская, то уж, во всяком случае, не Христова, ибо эта последняя утверждает всякую отдельную личность в едином вселенском лике человечества, идет от человека к человечеству, от единого ко всем -- не говорит: *да буду я один*, а говорит: *да будут все едино*. Тайна Христовой любви раскрывается миру; в тайне этой единый сообщается со всеми, единый приобщается всем; каждый человек через плоть и кровь Христа-Богочеловека приобщается к плоти и крови Христа-богочеловечества.

Пелагея очень редко приобщалась -- просто не чувствовала в этом потребности.

-- Что это ты не приобщишься? Ведь все сестры говорят, что ты "порченная", -- говорили ей.

-- Ах, нет, -- отвечала она, -- старик-то, батюшка Серафим, ведь мне *разрешил от рождения до уснения*.

То есть разрешил не приобщаться.

Со страшной последовательностью метафизики, конечно, бессознательной, она, отрехшись от всей вообще плоти, как будто отрекается или, по крайней мере, не имеет достаточного основания, чтобы не отречься и от Плоты Христовой. Ведь последняя

тайна христианской святости *не в приобщении, а в разобщении* со всякой плотью, в утверждении духовности как бесплотности.

В сущности, и "второй Серафим", так же как первый, -- *вне Церкви*, вне последнего соединения плоти человечества с плотью богочеловечества, ибо если отрицается одно из двух соединяемых, то не может не отрицаться и само соединение. *Не Серафим в церкви, а церковь в Серафиме*. "Кто пойдет против меня, убогого, тот пойдет против Господа": кто пойдет против меня, тот пойдет против церкви, -- это ведь и значит: *я -- церковь*. Тут восточное христианство переходит в западное, православие -- в католичество: всякий святой -- первосвященник, папа, наместник Христа. И, далее, христианство переходит в *христовство*, хлыстовство: святой -- "преподобный", подобный Христу -- "сам Христос во плоти".

Но если не Христова любовь, то какая же сила влекла Лию и к Пелагее? Не знаем и никогда не узнаем, пока мы -- мы, пока мир -- мир. Тут опять тайна, которую и второй Серафим, так же как первый, сохранил для себя одного. Пусть каждый, кто подходил к Пелагее, -- что-то видел, что-то узнавал, но ведь тоже *для себя одного*. Каждый навеки оставался с нею один, в тайне -- без мира, без церкви, без любви, без Христа. Ибо сущность тайны Христовой именно в том, что она открывается миру, как "свет", который "во тьме светит" и которого "тьма не объяла".

Когда зажигают свечу, то не ставят ее под сосуд, а на стол, чтобы она светила всем в доме. Ежели свет обоих Серафимов -- не тьма, то это все-таки "свеча под сосудом". И если бы даже было не два, а десять Серафимов, то до скончания века не смогли бы они поставить свечу на стол -- не смогли бы уже потому, что вовсе не хотели.

Ко гробу Пелагеи собрались тысячи народа. Все плакали над ней, как над родной матерью. В церкви было так жарко, что потоки воды текли со стен и на холодных папертях было тепло, как в кельях. Она лежала в гробу точно живая, даже не холодная, а теплая, "прекрасная как ангел", с ног до головы осыпанная свежими цветами, которые любила при жизни.

Эти потоки воды, текущие по стенам церкви, -- как бы слезы любви человеческой, которая согревает холодное мертвое тело. Но какая же связь между этим "прекрасным ангелом, спящим в гробу", и той уродливой, страшной, старой, скорченной, грязной, зловонной, сидящей в навозной яме, с длинными ногтями-когтями на руках и ногах? Опять не знаем и никогда не узнаем.

Пелагея оставила нам внешнюю оболочку свою -- юродство, безумие; а внутреннее ядро -- вещая мудрость, -- если и была в ней, то исчезла бесследно, так, как бы ее вовсе не было.

Юродство есть отречение от человеческого разума во имя Божеского. Но если разум человеческий несоизмерим с Божеским, то как возможно явление слова, ставшего плотью, разума Божеского, ставшего разумом человеческим? Как возможно явление Христа?

Пелагея любила цветы. Ей часто приносили их. Она держала их подолгу в руках, тихонько перебирая, любясь и что-то нашептывая.

Когда меня уверяют, будто бы христианская церковь освящает плоть мира, благословляет радости мира, мне вспоминаются эти живые цветы в руках "безумной Палаги", с когтями зверя, глазами ангела.

Неужели истинная Церковь, Невеста Христова, похожа на эту безобразную старуху или даже на ту "прекрасную как ангел", спящую в гробу, согретую теплой любовью темного народа, *как будто* живую, но все-таки мертвую?

Верим, чувствуем, знаем, что нет.

К тайне одного -- личности, и к тайне двух -- полу отношение Серафима, истинное или ложное, но, во всяком случае, глубокое: тут есть о чем говорить; но к тайне трех -- к общественности, оно до такой степени плоское, что и говорить почти не о чем.

"Не должно входить в дела начальнические и судить оные; сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо *нести власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть*. -- Не должно противиться власти, чтобы не согрешить перед Богом и не подвергнуться Его праведному наказанию: *противляющийся власти Божью повелению противляется*".

Это мы давно знаем. Но если утверждение: *всякая власть от Бога* -- безусловно, не только в идеальном, но и в реальном смысле, не только как должное, но и как данное, -- то почему же христианские мученики не подчинялись власти римских императоров, повелевавших поклониться своему изображению, как образу Божию? -- почему возмутились они против этой власти таким беспредельным возмущением, что оно сделалось началом величайшей из всех революций -- той, которая смела с лица земли Римскую империю, совершеннейшее воплощение власти человеческой, признанной за "власть от Бога"? -- почему признали они эту власть, в ее религиозном средоточии, в обожествлении кесаря, не силою Божией, а безбожным насилием -- властью зверя-антихриста?

Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе, -- говорит Христос. -- *Тебе дам власть над всеми царствами, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее*, -- говорит дьявол.

Итак, есть власть от Бога и власть от дьявола, есть истинная и ложная власть. Как же отделить одну от другой? Ответить на этот вопрос: *всякая власть от Бога*, -- значит одно из двух: или окончательно покориться власти зверя, предать Христа антихристу; или вернуться к тому недоумению, из которого и возник вопрос, то есть начать сказку про белого бычка. В течение двух тысячелетий христианство только и делало, что начинало эту сказку. Но хорошо ли, дурно ли, оно все-таки что-то начинало, что-то лепетало. А у Серафима единственный ответ -- молчание.

"От молчания никто никогда не раскаивался", -- говорит Серафим. Это благоразумно, даже слишком благоразумно; совсем не похоже на *безумие Креста*; с этим согласился бы, пожалуй, и сам Талейран, полагавший, что слова людям даны для того, чтобы скрывать мысли.

Менее благоразумный и менее святой предшественник Серафима, архиепископ ростовский, Арсений Мацеевич, судимый за оскорбление величества, на допросе перед синодом, в присутствии государыни, Екатерины II, говорил с такой откровенностью о порабощении и разорении русской церкви императорской властью, что Екатерина зажала себе уши, а ему заклепали рот.

Серафиму не заклепали рта: он и так молчал -- и "от молчания никогда не раскаивался".

А ведь не мог не видеть и он, подобно Арсению, что "русская церковь в параличе с Петра Великого", что глава ее -- не Христос, а русский самодержец, как объявил о том император Павел I, что она -- департамент дел духовных, что "Крест -- казенная поклажа" и что мерзость запустения стоит на месте святом.

Что же делал Серафим, видя все это?

Спасался в затворе. "Бегай, Арсений, людей и спасешься". Подражая древним подвижникам, при встрече с кем-либо падал лицом на землю и до тех пор не вставал, пока встретившийся не проходил мимо.

Вышел, однако, из десятилетнего затвора для того, чтобы благословить приехавшего в обитель тамбовского губернатора с женой.

Посещали его и другие сановники. "О. Серафим, -- повествует Летопись, -- относился к ним с должною честью, обращал внимание на важность их сана и, указывая на знаки отличия, украшающие грудь их (то есть на ордена и *кресты*), напоминая им о Распятом

на *кресте*, говорил, что знаки сии должны служить им живой проповедью о их обязанности. Более же всего, по нуждам того времени, умолял охранять православную церковь, сильно колеблемую суетными мудрованиями века. "Этого, -- говорил он, -- ждет от вас народ русский; к тому должна побуждать вас совесть; для сего избрал вас и возвеличил государь".

Император Александр I "избрал и возвеличил" кн. А. Н. Голицына, назначив его обер-прокурором св. синода, что, по всей вероятности, и Серафиму было известно.

"Неверственная школа XVIII столетия, -- рассказывает сам Голицын в своих мемуарах, -- пустила глубокие корни в моем сердце. Деизм, который в то время был признаком людей хорошего тона, составлял все мое верование". Это значит, обер-прокурор св. синода во Христа не верил; впрочем, в то время не верил во Христа и сам государь, "глава русской церкви".

"Вот я отправляюсь в синод, вхожу в готическую храмину, вижу синодский декор, вижу на другой стороне зеркала, *служебное* Распятие. Вместе с тем, глазам моим встречается какой-то византийский трон из позолоченного дерева. Входя, креплюсь, стараюсь быть важным, степенным, приступаю к слушанию дел. Случилось же, что для первого моего прихода слушаны были такие дела, которые, во всяком случае, могли бы служить богатою канвою для самой соблазнительной хроники: предложены были процессы о прелюбодеяниях во всех их подробностях. Мне тогда показалось, что и святые отцы вовсе не были прочь их выслушивать -- что же мне, молодому холостяку?"

Об этом заседании Голицын рассказал государю за обедом так остроумно, что оба от души хохотали. Над чем? Ведь, после уничтожения патриаршества, св. синод -- единственное соборное правление русской церкви и, следовательно, единственное в ней "вместилище Духа Святого".

"В обществе наших знакомых был некто князь Тюфякин, -- продолжает Голицын. -- Этот человек, которого нравственность была вовсе не лучше моей, позволял себе дерзкие выражения насчет религии, как и я сам, это составляло общую забаву и удовольствие наше. И вот однажды, у него в доме, бывши уже обер-прокурором синода, я вымолвил такое невместное, такое дерзновенное богохульство, что очень тем соблазнил моего Тюфякина, который даже от того встревожился и просил его пощадить. Вот какого блюстителя имел во мне святейший синод!"

И таких-то людей призывает Серафим на защиту церкви. И генеральские кресты их сравнивает с Крестом Господним. Что это такое? Младенчество? Но ведь для кого же, как не для святых, сказано: *Не будьте по уму младенцы*.

Серафим, говорят, обладал великим даром прозорливости. К нему приходили крестьяне, у которых украли корову или лошадь, и он угадывал место, где находится краденое. Знает, кто украл у мужика корову, а кто украл благодать у церкви, не знает.

У одного генерала, которого он исповедывал, свалились будто бы чудом ордена и кресты. "Это потому, что ты получил их незаслуженно", -- объяснил старец.

Кажется, дальше этих свалившихся генеральских крестиков не пошла борьба Серафима с несправедной властью.

У Елены Мантуровой, одной из дивеевских девушек, была крепостная девка Устинья. Вместе с госпожой своей поступила она в монастырь и жила с ней в одной келье, оставаясь крепостною. Устинья заболела чахоткой. Ее мучило, что она, больная, занимает место в тесной келье и беспокоит барыню: "Нет, матушка, я уйду от тебя, нет тебе от меня покоя!" -- повторяла Устинья. Но уйти не успела, умерла. И никому из них, ни Серафиму, ни Елене, ни самой Устинье, не пришло в голову, что рабство -- мерзость перед Господом. Дьявол брака является Елене в виде огненного змия, а дьявол рабства остается невидимым. *Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков*, это все забыли, а помнят только: *рабы, повинуйтесь господам вашим, и нет власти не от Бога* -- следовательно, от Бога и власть русских помещиков.

В ранней юности Серафим был свидетелем Пугачевского бунта. Те разбойники,

которые, напав на него в лесу, искалечили его, были крепостные, которые могли бы участвовать в бунте. Серафим едва не погиб от ожесточения рабов, но все-таки не задумался о рабстве и в течение всей сноси жизни ни единым словом против него не обмолвился. Если бы это вообще зависело от Серафима, от христианских святых, от христианской святости, то крепостное право в России существовало бы и поныне. "Лучше тебе самому освободиться от уз греха, чем освобождать от рабства народы", -- этому завету первых святых остался верен и последний.

Не святой Серафим, а грешный и безбожный Радищев о рабстве задумался. Пока святые терпели молча, безбожник завопил от святого гнева, от святого ужаса -- и неужели этот вопль не дошел до Бога? С Богом -- рабство; свобода -- без Бога: так всегда было и есть -- неужели так всегда будет? Во всяком случае, христианская святость пальцем не двинула, чтобы этого не было. Самые кровные связи разрываются, так что "ключьями тело висит", а цепи рабства спаиваются.

От французской революции до русского декабрьского бунта -- все освободительное движение, при котором Серафим присутствовал, для него -- только "суетные мудрования века сего". "Это все нынешний-то век, нынешние люди придумали!" -- шепчет он с тихой брезгливостью. Тут не столько проклятие, сколько "дурной глаз" на всю мировую культуру -- науку, искусство, общественность -- на все "труды и дни" человечества; не столько истребить хотел бы он все это, сколько "сглазить".

-- Учить ли детей языкам и прочему? -- спросил кто-то.. -- Что же худого знать что-нибудь? -- отвечал Серафим и тотчас прибавил: -- Где мне, младенцу, отвечать против твоего разума? Спроси кого поумнее.

И в этой усмешке -- опять та же тихая брезгливость, тайное неблагословение, которое убийственнее всяких проклятий, опять "дурной глаз".

Перед смертью он предсказывал дивеевским сестрам торжество их обители.

-- Какая великая радость-то будет! Колокол-то московский Ивана Великого сам првдет к вам по воздуху. Когда его повесят да в первый-то раз ударят и он загудит, тогда мы с вами проснемся. Вся вселенная услышит и удивится. О, во, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета запоют Пасху! Приедет к нам царь и вся фамилия!

И так для Серафима приезд русского царя равняется Пасхе Господней, воскресению мертвых.

-- Но эта радость будет на самое короткое время, -- продолжает он. -- Что же далее, матушки, будет... Такая скорбь... чего от начала мира не было. Ангелы едва будут успевать брать души.

И светлое лицо батюшки вдруг изменилось, померкло; опуствя головку, он поник долу, и слезы струями полились по щекам".

От этой же самой скорби плачет и "второй Серафим", "безумная Палага", особенно с 1 марта 1881 г., с убийства Александра II. "Как слышно стало, что у нас творится на Руси, какие *пакости да беззакония*, то уж как она, сердечная, бывало, плакала-то; уж и не скрывалась, и почти не переставала плакать, глаза даже у нее загноились и заболели от этих слез.

-- Что это значит, матушка, -- говорю я, -- что ты все так страшно плачешь?

-- Эх, говорит, если бы ты знала это, весь бы свет теперь заставила плакать!"

Для обоих Серафимов, и если бы их было не два, а десять, то для всех одинаково освобождение России --- "пакость и беззаконие".

При всяких попытках оторвать православие от самодержавия, соединить христианство с революцией мне вспоминается опущенная головка, померкшее личико батюшки Серафима и по щекам его струящиеся слезы. Не эти ли слезы единственный подлинный ответ всей русской святости на русское освобождение? Светлое лицо Серафима померкло и все больше меркнет, темнеет, чернеет, становится страшным лицом "черных сотен". Христианство и свобода -- вода и огонь: если огонь сильнее, то

от воды остается лишь теплый пар -- церковная реформация; если вода сильнее, то от огня остается лишь мокрый пепел -- политическая реставрация.

Для Серафима конец самодержавия есть конец православия, а конец православия -- конец мира, пришествие антихриста.

В последний год своей жизни начал он рыть заповедную канавку с валом вокруг Дивеевской обители, чтобы оградить ее от антихриста.

-- Канавку вырыть надо. Три аршина глубины, и три аршина ширины, и три аршина вышины. Это та самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли! -- Так бывало и задрожит весь, как это говорит-то. -- И кто канавку с молитвой пройдет да полтора ста Богородиц прочтет, тому все тут -- и Афон, и Иерусалим, и Киев. Когда век-то кончится, антихрист придет, то станет с храмов кресты снимать да монастыри разорять и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба; ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка -- так прочь и уйдет.

"Так как очень торопил этим делом батюшка, то и лютой зимой, рубя землю топором, копали сестры заповедную канавку; и лишь только окончили, скончался тут же и наш родимый батюшка, -- точно будто этого только и ждал".

Действительно, главное, и, может быть, единственное дело всей жизни его и есть эта канавка. Что первые святые начали, то кончил последний: невидимую черту, отделяющую христианство от мира, сделал видимой -- завершил незавершенное в христианстве противоречие мира и Бога.

По ту сторону канавки -- Бог без мира, по сию -- мир без Бога; и соединить их нельзя. Трехаршинная канавка углубится до бездны, трехаршинный вал подыметсЯ до неба -- и окончательно отделится Бог от мира. Бог отнят от мира, мир предан диаволу.

Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, -- это не исполнилось в христианстве: воля Божия, царство Божие -- только на небе, а на земле -- царство диавола.

"К концу-то века, -- предсказывает Серафим, -- будет у вас на диво собор. Подойдет к нему антихрист-то, а он весь на воздух и подыметсЯ. Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя и взойдут, но будут падать на землю". На землю, то есть в преисподнюю, ибо земля и есть преисподняя.

Серафим, со своим собором, в котором заключена соборная, единая, вселенская Церковь, -- возносится, а земля проваливается; Серафим свят, земля проклята; Серафим спасся, мир погиб.

XII

Что же -- значит, христианство "не удалось"?

Если смотреть на него как на последнюю религиозную цель и завершение мира, то оно действительно "не удалось". Если же христианство -- только путь к этой цели, то оно "удалось" так, как ни одно из дел человеческих не удавалось и как удаются только дела Божий. В этих-то именно кажущихся своих неудачах, несовершенствах, падениях, провалах, противоречиях, даже преступлениях, христианство более совершенно, более божественно, чем в своем человеческом совершенстве, человеческой святости.

Бесконечное открывается конечному разуму не иначе, как по законам этого разума; а глубочайший из них -- закон диалектического развития, по которому совершенное соединение двух противоположных начал, синтез тезиса и антитезиса, не может произойти прежде, чем не раскроется совершенная противоположность этих начал.

Первый Завет, откровение Отца, -- тезис; второй Завет, откровение Сына, -- антитезис; совершенный синтез первого и второго Завета в третьем, последнее соединение Отца и Сына в Духе не могло произойти прежде, чем не раскрылась совершенная противоположность Отчей и Сыновней ипостаси. Кажущиеся

неразрешимыми противоречия христианства -- вечные антиномии плоти и духа, земли и неба, мира и Бога -- суть в действительности не противоречия неразрешимые, а только противоположности неразрешенные, но разрешаемые в последнем соединении двух во едином, в последнем откровении Троицы. Надо было раскрыть до конца противоположности: христианство это и сделало, или, вернее, сама премудрость Божия сделала это через христианство.

Мы видели, что вся метафизика христианской святости сводится к утверждению бесплотной духовности. Мы видели также, в каком зияющем противоречии находятся три величайшие тайны Христовы -- начало, продолжение, конец самого христианства: воплощение, причащение, воскресение -- три тайны плоти святой с этою бесплотною святостью. Но уже не человеческая, а Божественная святость, Божественная подлинность христианства, адамантово основание грядущей Церкви Христовой, о которой сказано: *врата адовы не одолеют ее*, -- и заключается именно в том, что сквозь все эти бездонно зияющие противоречия, провалы, падения, даже преступления, христианство пронесло неискаженный лик Христа, слова, ставшего плотью. В этом смысле христианство есть подлинное явление Христа человечеству. Без христианства нет Христа; Осз Христа, Сына Божия, нет Отца и Духа. Никто, кроме Сына, не приводит к Отцу; никто, кроме Отца и Сына, не приводит к Духу. В этом, повторяю, уже не человеческая, а Божественная святость, правда и оправдание христианства.

Полнота первого Завета совершилась только во втором; полнота второго совершится только в третьем. Первый Завет пророчествует о первом пришествии Сына в Отце, второй -- о втором пришествии Сына в Духе; первый -- о Богочеловеке, второй -- о богочеловечестве, которое и будет последним откровением Духа Святого в плоти святой, последним соединением Духа с плотью, неба с землей, мира с Богом -- *да будет Бог все во всем*. Как в Ветхом Завете заключено христианство, так в христианстве -- религия Святого Духа. И как христианство, откровение Сына, не нарушило, а исполнило закон Отца, так откровение Духа не нарушит, а исполнит христианство. Откровение Духа, третьей ипостаси, которое и есть откровение всех трех ипостасей -- откровение Троицы -- заключено, сокрыто, но не раскрыто в христианстве. Учение о Троице осталось отвлеченным созерцанием, догматом, вне действительной святости, а христианская святость, действие -- вне Троицы. Святые говорят: во имя Отца, и Сына, и Духа, -- а делают только во имя Сына. Ликом Сына закрыт лик Отца и Духа. Но закрытое должно раскрыться -- и уже раскрывается.

Если бы в христианстве не было чаяния Церкви вселенской, то не раскинулся бы, подобный своду небесному, свод константинопольской св. Софии -- первое видение грядущей вселенской соборности.

Если бы в христианстве не было чаяния плоти святой, то не явилась бы Матерь Божия -- первое видение вечного материнства.

Если бы в христианстве не было тайны о Троице, то не открылось бы последнее разделение двух миров в современной критике познания.

Если бы в христианстве не было тайны о богочеловечестве, то не пронеслась бы огненная буря того освобождения народов, только начало которого мы донныне видели в европейских революциях.

Современное человечество не подозревает, до какой степени остается оно христианским даже тогда, когда от христианства отрекается. Можно идти против, но мимо христианства -- нельзя. А истинный путь человечества -- не против и не мимо христианства, а через него -- к тому, что за ним.

В заключение признаюсь: мне трудно было, иногда почти страшно говорить о Серафиме. Как бы ни было справедливо то, что я говорю, я все же только говорю о том, что надо делать; Серафим сделал то, о чем говорил.

Я скорбен, он счастлив; я темен, он светел; я грешен, он свят.

Что, если бы я увидел сейчас, лицом к лицу, этого маленького, сгорбленного старичка

в белом балахончике, белыми и голыми ножками идущего как бы по воздуху, -- посмел ли бы я поднять на него глаза и сказать ему самому все, что сказал о нем? И что он ответил бы мне?

"Кто против Господа, Царицы Небесной и меня, убогого Серафима, пойдет, тому не дам жития ни в сем веке, ни в будущем".

Я себя не обманываю -- знаю, что если не *там* в вечности, то *здесь* в "сем веке" он, может быть, и проклял бы меня, а если бы не проклял, то уж, во всяком случае, не благословил бы, промолчал, ничего не ответил бы на все мои вопросы.

И все-таки я верю, что последняя, *нездешняя* тайна Серафимовой и всей христианской святости, когда откроется, будет тем самым откровением, которого и я жду, которого ждут все, кто ожидает церкви грядущего Господа. Все мы верим и надеемся, что в *этой* церкви Серафим благословит нас всех.

Но благословение -- *там*, а *здесь*: "Кто против меня пойдет, тому не дам жития".

И вот на это хочется *здесь* же ответить:

-- Батюшка Серафим! Если ты идешь за Бога против мира, то мы идем против тебя с миром и с Богом, ибо истинен Бог наш, Христос, пришедший в мир, сущий в мире и грядущий в мире. Тут между нами и тобою, действительно, бездонная "канавка" -- великий рубеж, отделяющий *до времени* явление Сына от явления Духа, второй Завет от третьего. Тут между нами и тобою, по слову Господа, -- *не мир, но мен* -- опять, конечно, *до времени*, ибо когда время исполнится и тайна всех трех Заветов совершится, то будет уже -- *не мен, но мир*.